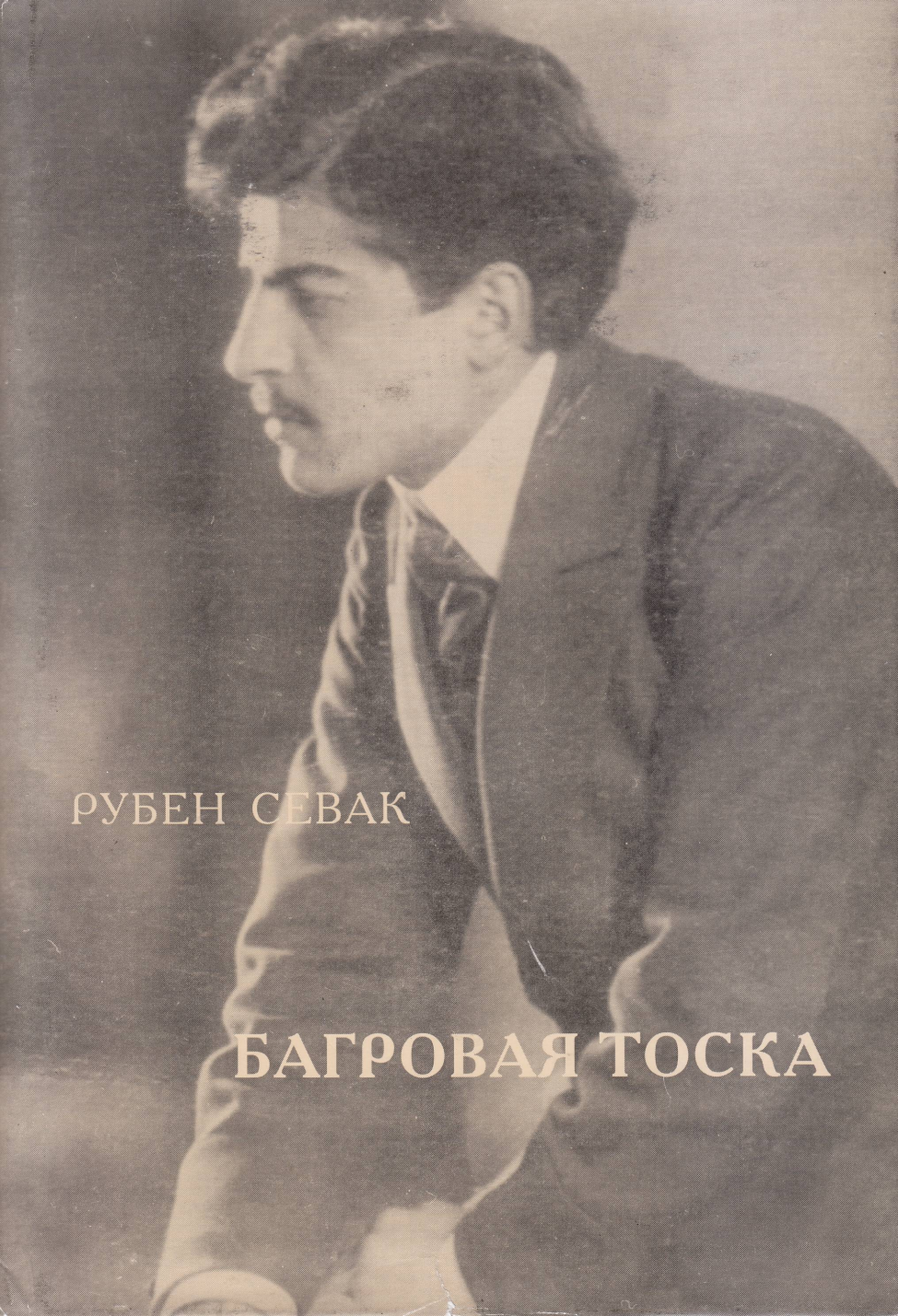




РУБЕН СЕВАК

БАГРОВАЯ ТОСКА

РУБЕН СЕВАК

БАГРОВАЯ ТОСКА

РУБЕН СЕВАК

БАГРОВАЯ ТОСКА

Избранная лирика

Перевод с западноармянского
Георгия Кубатьяна



“ВАН АРЬЯН”
ЕРЕВАН 2004

УДК 891. 981-1 Севак
ББК 84 АР 1-5
С 280

Вступительная статья и примечания
Георгия Кубатьяна
Предисловие
Шаэна Хачатряна

С $\frac{4702080102}{854(01)2004}$ 2004

ISBN 99930-76-96-7

© Кубатьян Г., 2004, для перевода

НЕЗАВЕРШЁННАЯ ПАСТЕЛЬ

«Я никогда не встречу сорок», – утверждал (ошибочно, по счастью) Николай Асеев. Превосходный эпиграф к судьбе практически всех значительных западноармянских поэтов. И впрямь, Петрос Дурьян прожил двадцать один год, Мисак Мецаренц – двадцать два, Матеос Зарифян – тридцать, Даниэл Варужан – тридцать один, Сиаманто – тридцать семь, Мкртычу Пешикташлян рок отмерил-таки сорок, и Ваан Текеян с его шестьюдесятью семью годами смотрится на этом фоне долгожителем.

Рубен Севак (1885–1915) погиб тридцатилетним.

Прежде чем поговорить о нём, надо хотя бы вкратце пояснить русскому читателю, что такое Западная Армения. Начиная с XVI века Армения была поделена сперва между Турцией и Персией, а позднее, в 1828 году, между Турцией и Россией. Подвластные Турции земли с жившими на них коренными насельниками – их было приблизительно два с половиной миллиона – и есть Западная Армения. Но к западным армянам относятся и те, кто расселился со временем в других областях Турции. Особо нужно сказать о Константинополе, где армяне с византийских времён составляли значительную долю населения. В начале XX века в турецкой столице насчитывалось более двухсот тысяч армян; здесь выходило множество газет и журналов на армянском языке, действовало множество школ, церквей, профессиональных театральных трупп. Словом, турецкая столица была центром западноармянской культуры, и армяне не чувствовали себя здесь гостями.

Геноцид армян 1915–1922 годов – истребление как раз турецких, западных армян, половина которых погибла, другая же половина рассеялась по миру. Эта национальная катастрофа сделала Западную Армению понятием историческим. Ибо на землях, где сформировался армянский народ и где армяне жили с начала времён, их уже нет.

Рубен Севак вырос в Константинополе (тогда турецкое название – Стамбул – ещё не вошло в мировой обиход), учился в Лозанне, а получив диплом врача, несколько лет практиковал в швейцарских клиниках. Успел издать одну-единственную «Красную книгу» – стихотворный отклик на резню 1909 года. На резню совсем иного, чудовищного масштаба – на геноцид – он уже не смог откликнуться; весной 1915-го его взяли под арест, а летом убили. Согласно весьма достоверному свидетельству бок о бок с ним умирал его друг и великий поэт Даниэл Варужан. Если свидетельство правдиво, то 26 августа – наичернейший день в истории армянской поэзии. Потому что Севак и сам обладал огромным дарованием. Не до конца воплотившимся, но поистине блестящим.

Творчество Севака складывается из трёх разных, а на поверхностный взгляд обособленных одно от другого течений. Это стихи о родине, гневные, страшные, порою безысходные. Это цикл, навеянный европейскими впечатлениями и, коли вспомнить Лермонтова, «облитый горечью и злостью». Наконец, это стихи о любви, в большинстве из которых автор предстаёт символистом чистой воды.

Я не зря поставил на первое место стихи о родине. Дело не в их количестве, хотя если принять во внимание три поэмы, составившие прижизненную книжку Севака, то патриотические, условно говоря, произведения сложатся в наиболее весомую часть его наследия. Но патриотическая тема – родовая, преобладающая черта армянской поэзии, равно восточной и западной её ветвей. Так что количественный фактор, он второстепенен. Речь о том, что Севак трагической своей судьбой подтвердил теоретические, с позволения сказать, установки: поэту должно жить единой с

народом жизнью. Жил он, может быть, и по-особому, зато погиб именно потому, что разразилась общенациональная катастрофа. Между тем ему нетрудно было избежать общей для соотечественников участи.

Двадцати лет от роду Рубен Чилинкирян, ещё не взявший себе литературного псевдонима (Севак означает «черноокий»), уехал в Швейцарию. Получил там отменное образование, получил и работу. Французский язык – он свободно владел им со школьных лет, как и вся практически западноармянская интеллигенция, – французский язык стал по сути дела главным для него: по-французски он говорил в университете, на службе, в быту, даже дома. Женился он на немке из хорошей, что называется, семьи, Янни Аппель, и жили они с ней душа в душу. Но в августе 1914-го Севак настоял: они должны вернуться на родину. Шаг был отчаянным и безумным. Только что началась мировая война, висевший над армянами дамоклов меч явственно срывался с ненадёжного волоска, на котором едва-едва держался. По рассказам Янни, мрачная обстановка в константинопольском порту гнетуще на неё подействовала; через пять минут она взмолилась: вернёмся, пока не поздно! Севак, однако, был непреклонен.

А ведь он отчётливо сознавал, чем это грозит. Ещё в 11-м году в его письме проскользнула фраза: «Мне хочется, прежде чем окончательно вернуться на родину, съездить в Венецию и провести там хотя бы весну – одну из считанных весен, что мне предстоят, – и, предчувствуя смерть, ощутить, что живу». Возвращение на родину, в турецкую столицу, понималось им как шаг навстречу смерти. Кстати, Севак многократно писал о близкой смерти, но многослойные, полные порою мистического тумана стихи символиста в данном конкретном случае меркнули перед сугубо трезвым его письмом.

Приведу распространённый рассказ о происшествии, случившемся с поэтом в ссылке, на пороге гибели. Вернее, не с поэтом, а с врачом. Он вытащил с того света тяжелобольную турчанку, отец которой предложил ему перейти в ислам и жениться на

спасённой; отговорки, я, мол, женат и у меня дети, не смутили благодетеля, каковым чувствовал себя турок: многожёнство для нас, мусульман, не грех, а ты, в отличие от иных армян, уцелеешь. Севак отказался; через неделю-другую, в роковой час, он увидел среди своих убийц отца той девушки.

Не исключаю, что рассказ этот апокрифичен; одни говорят, что турок был высокопоставленным чиновником, а Перч Зейтунцян, обычно сохраняющий достоверные детали, вывел его в пьесе «Великое безмолвие» как извозчика. Но важнее другое – пусть перед нами вымысел, у него своя ценность. Если родилось и пошло гулять о Севаке предание, значит, он дал для него повод и был его достоин. Дошедшие до нас разрозненные свидетельства сходятся в одном: он вёл себя в ссылке безупречно.

Судьба Севака по-своему подтверждает, что геноцид, от которого Турция до сих пор открещивается, был именно геноцидом, а не совокупностью досадных инцидентов, имевших место в пору военной неразберихи. Вдумайтесь, Янни, жена Севака, была гражданкой Германии, дочерью полковника; Турция состояла союзницей Германии, причём излишне толковать, кто в этом союзе был ведущим, а кто ведомым; Янни сделала за три-четыре выпавших ей месяца всё, чтобы спасти мужа, но немецкий посол Вагенгейм предпочёл обвинить её в отсутствии патриотизма, но не рискнул вступить за офицера союзной армии (Севака, как и всех военнообязанных армян, турки не преминули призвать в доблестные ряды). Не рискнул оттого, что понимал: осуществляется целенаправленная, планомерная политика, становится поперёк дороги себе дорожке... Что оставалось Янни? Навек отречься от германского паспорта, переехать во Францию, говорить с детьми только по-французски, а во время Второй мировой благословить сына, Левона Севака, пойти на войну с немцами...

Сколько бы мы ни повторяли, что стихи подлинного поэта неизбежно похожи на него, всё-таки жизнь есть жизнь, а стихи – всего-навсего стихи, нечто взятое «из головы», блажь и выдумка. Но судьба Рубена Севака, до поры до времени завидно благополучная, в итоге нисколько не противоречит его трагическому

по преимуществу мироощущению. Поистине пером избранника муз водит кто-то, кому наперёд известно, с кем и что случится. Стихи Севака мало того что похожи на него — кажется, сам он изо всех сил старался походить на них. И раз уж написал однажды, что «в некоем году падёт весь мой народ, а с ним и я паду», деваться некуда, соответствуй.

Для молодого человека, совершенно, замечу, здорового, не в пример обречённым чахоткой на раннюю смерть Дурьяну и Мецаренцу, так вот, для молодого человека Севак неправдоподобно часто размышлял о смерти. В первых же серьёзных стихах элегические и, больше того, трагические интонации решительно перевешивают у него бодрые, радостные настроения. Когда он уподобляет себя рано пожухшему листку, тут ещё можно заподозрить этакое манерничанье, хотя подозрение вызывает отнюдь не стих — он-то как раз естествен и чист, — а только возраст автора, совсем юноши, то есть обстоятельство побочное, к поэзии причастное косвенным образом. Однако когда в ход идут углублённые философские построения, когда смерть обозревается так и эдак, а поэт и призывает её, и не хочет ей поддаваться, когда тема смерти звучит и громко, и под сурдинку, возникая вроде бы случайно, в разговоре совсем о постороннем, — тут уж ясно: всё доподлинно. Когда мысль умозрительна, не выстрадана, стихотворец не допустит противоречий; противоречие в лирической исповеди, равно случайные проговорки — знак искренности, непреднамеренности.

Поневоле задумаешься, чем объяснить эту ненормальную тягу к смерти, к навязчивым, почти маниакальным о ней раздумьям. И не найдёшь личных причин. А лирика — непременно разговор о личном. И понимаешь, у Севака личная боль — это часто глубоко засевшая в душе всеобщая, всенародная боль. Её можно высказать, выкрикнуть или выплакать напрямую, что Севак и делал иной раз, а можно и загнать вглубь, впитать её, растворить в себе, травя и растравляя душу, чтобы боль, изначально не своя или не вполне своя, в корне видоизменилась и приняла не личное даже, но личностное, индивидуальное обличье.

Примерно то же самое надо сказать об истоках севаковского символизма. Не могу назвать армянского поэта, в творчестве которого символизм оказался бы столь укоренённым. Нет-нет, объективные его истоки наглядны и бесспорны — чтение французских авторов, их опыт, их усвоение. В этом смысле Севак недалеко ушёл от предшественников и ровесников, многое почерпнувших у французов. Приобщение к символизму резко расширило словарь армянской поэзии, дало в ней волю поэтической фантазии, утвердило лирическую стихию, наконец, удвоило арсенал изобразительных средств и стиховых форм, привнесло в неё высокую, подчас изощрённую культуру стиха.

Мне возразят, эта характеристика затрагивает едва ли не всех западноармянских авторов. Однако же Севак не просто выученик символизма, во многих своих вещах он истинный символист. У кого ещё, кроме Мецаренца и отчасти молодого Текеяна, найдёшь обилие примет именно и только символистских? Оба поэта, вослед за Верленом, Рембо, Малларме, стягивали с бытия привычную накидку будней, пытаясь увидеть его непостижимую, загадочную, трансцендентную суть. Они понимали, что загадочная эта суть не может быть плоской и однозначной — она многомерна, поэтому не боялись расплывчатости, смутности стихов, в глубине которых угадывалась и мерцала тайна. Не пугались откровенной непонятности, недоступности; легко представить, как иные любители традиционных стихов пожимали плечами, читая Мецаренца, а потом и Севака: красиво-то красиво, но что значат эти видения, пасторали, рыцари, пастушки?

Что значат? Бог весть. Ибо смыслы, вложенные поэтами в их образы, не поддаются простой расшифровке, декодировать их нельзя — такого кода нет. Уход от общепонятности в область интуитивного, в то, что Рембо назвал алхимией слова, был у Севака, как и у других символистов — французских, а также и русских, — знаком разлада с окружающим миром, знаком протеста против засилья в нём обывательщины, вульгарно выраженного материализма, всевластия денег.

Недаром Севак противопоставляет золотой век искусства,

каким ему видится далёкая старина, золотому тельцу, подмявшему под себя нынешний день. Недаром, отрицая то, что творится кругом, утверждает культ поэта, творца, художника – под его пером это не ведающий низменных побуждений певец прекрасного, перекасти-поле, бессребреник. Недаром он видит в себе и в себе подобных последних носителей былой культуры, того Высокого Искусства, которое на глазах умирает; это было распространённое чувство, в России Вячеслав Иванов «Атиллою» и Валерий Брюсов «Грядущими гуннами» тоже выразили его. Между прочим, ещё раньше о приходе «века машин и железа» с его корыстолюбием и меркантильностью, о чём сокрушался в «Трубадурах» (и не только в них) Севак, гениально возвестил Баратынский:

*Век шествует путём своим железным,
В сердцах корысть, и общая мечта
Час от часу насущным и полезным
Отчётливей, бесстыдней занята.*

Словом, армянские поэты, Севак в частности, шли в ногу с европейской поэзией, оттого и не могли не поддаться победному шествию символизма.

Думаю, однако, что в пристрастии Севака к ускользающим от рационального постижения иллюзорным символам сказалась и национальная боль. Упования, надежды на лучшее не имели чётких оснований, однако ж они были; вера в лучшее, когда всё вокруг отвратительно, могла подыскать опору только в мистических откровениях, в зыбкой туманной недосказанности, в иллюзорности, в той самой тайне.

Эти зыбкость, и недосказанность, и туманные намёки – родные сёстры музыки. Дело не только в том, что в творчестве Севака, как и других символистов, удельный вес музыкальности, мелодичности резко повысился. Севак иной раз придаёт музыкальной стихии в своей лирике такое значение, что слова, тушуясь, отступают на задний план, ибо звучание становится важнее

смысла, в нём, звучании, обнаруживается собственный сокровенный смысл.

Одно из пейзажных стихотворений Севака названо «Пастель». Это характерный для Севака пейзаж души, потому что сама по себе картина природы мало что для него значит. Изображая природу, поэт почти нигде не проводит параллелей с душой. Они лишни. То, что сказано Севаком о природе, сказано о душе. Ну а в жанре пейзажа души пастельная глубина, мягкость и недоговорённость – они незаменимы. В известном смысле «пастель» куда шире живописного понятия, приложенного к удачному стихотворению. Перед нами характеристика высших поэтических достижений Севака. Да и всё его творчество в целом – единая по замыслу, тонкая, глубокая – местами дух захватывает, – однако незавершённая пастель. Про него нельзя сказать, что он ушёл из жизни в расцвете таланта, до расцвета было ещё далеко, но многое из того, что он сделал, и спустя без малого столетие кажется замечательным.

И ещё. Символы, тайна, смутные блики, может быть, и затуманивают ясность, отчётливость высказывания, но не затуманивают его красоты. Севак – один из самых красивых армянских поэтов, его любовная лирика лучится переливами чувства, теми самыми пастельными полутонами, нюансами.

Севак из тех, кого принято называть сложными поэтами. Сложен его синтаксис, его длинные, сбивчивые, временами захлёбывающиеся периоды. Многообразен и многослоен его словарь, а нечастые вроде бы неологизмы так изобретательны, что, переводя, не знаешь, откуда к ним и подступиться. Прихотлива его строфика; традиционный катрен с перекрёстной рифмой – довольно редкий у него гость. Его фирменные строфы – четверо- или шестистишие с парными рифмами, а также трёхстишие с тройчатками рифм – свидетельствуют о профессиональной искусности Севака; технические препоны преодолевались им без видимого напряжения. Порою целые стихотворения – вовсе не миниатюры – строятся на сквозной рифмовке. Создаётся впечатление, что, принимаясь за работу, молодой поэт усложнял

себе задачу, то и дело доказывая себе: я мастер.

Бросается в глаза и севаковская рифма; мало кто среди армянских стихотворцев откровенно сторонился набивших оскомину примитивных концевых созвучий, предпочитая глубокие, богатые, подчас изысканные. Подсчётов я не делал, однако на глазок у Севака не менее двух третей рифм относятся к числу богатых и чрезвычайно богатых, а бедные воспринимаются как исключения. (В скобках замечу, что переводчики почему-то напрочь игнорируют эту особенность поэта.)

Усугублённая неординарным умом и незаёмной интонацией, оригинальным взглядом на мир и крепкими национальными корнями, эта внешняя, формальная сложность оказывается сложностью содержательной. Пренебречь ею значит исказить поэта, намеренно выставить его в упрощённом облике; в таких именно случаях и говорят, что простота хуже воровства.

В эту книгу не вошли ни поэмы, ни сюжетные стихотворения Севака; всё-таки главное у него — лирика, именно знакомство с ней даёт о поэте самое точное представление.

Георгий Кубатьян

ЖИВАЯ ВЕТВЬ

Издавая книгу прекрасного поэта с трагической судьбой, было бы непростительной ошибкой забыть о человеке, всецело посвятившем себя Рубену Севаку и его памяти. Это племянник поэта, сын его брата, Ованес Чилинкирян. Он родился через полтора десятилетия после гибели Севака, но с ранних лет ощущает его своим вторым — духовным — отцом. Отдав три последние десятилетия литературному наследию поэта, собиранию реликвий, связанных с ним, и популяризации его стихов, Ованес Чилинкирян словно бы продолжает и продлевает его земное бытие.

Чилинкирян живёт в Ницце. В этом же городе жила и была похоронена вдова поэта Янни. Здесь живёт и его дочь Шамирам, которой исполнился год, когда погиб отец, и которая сегодня, на пороге своего 90-летия, поражает нас и красотой, и молодостью, и энергичной походкой, и мягкостью нрава, и принципиальностью, всем своим обликом символизируя жизнь отца и его поэзию. Дочь поэта хорошо знают во Франции. Недаром, когда в этом году в Париже открывали большой памятник великому композитору Комитасу и в его лице жертвам геноцида, от имени армянской общины наряду с Шарлем Азнавуром выступала Шамирам Севак.

Но вернёмся к Ованесу Чилинкиryanу. Как уже сказано, последние три десятилетия он едва ли не всецело посвятил увековечению замечательного поэта. Мало того, что он знает практически все его стихи наизусть и относится к нему не просто любовно — трепетно. Просторная четырёхкомнатная квартира (по

соседству с той, где живёт он сам) переоборудована в музей Рубена Севака. Здесь хранятся рукописи, письма, рисунки, фотографии поэта, связанные с ним архивные материалы, старые журналы, газеты, книги. Это, однако, не всё. Севак увлекался живописью, рисовал сам, дружил с художниками, собрал интересную коллекцию. Чилинкирян продолжил его дело; в музее развешаны по стенам около двухсот картин армянских мастеров нескольких поколений, от Айвазовского до Гарзу и младших его современников. Особенно много здесь маринистов – кроме упомянутого выше классика, это Махохян, Шабанян, Адамян, Мутафян, Алхазян... Узнав от меня, в мою бытность директором Национальной галереи Армении, что в галерее нет работ одарённого художника позапрошлого века Мкртыча Дживаняна, он передал ей в дар отменную картину этого полузабытого мастера.

Словом, ясно, что наследие Севака пустило в Ницце живую ветвь, она, эта ветвь, позволяет испытать явственное присутствие поэта. Надо заметить, эта живая ветвь и в Ереване пустила свои ростки. Одна из школ армянской столицы носит имя Рубена Севака. Чилинкирян установил с ней самые тесные связи. Здесь открыт музей поэта, ставший своеобразной школой в школе – школой патриотизма, гуманности, красоты. По его инициативе в школьном дворе воздвигнут бюст поэта...

Всякий истинный поэт живёт в сердце своего народа. Чем больше проходит времени, тем отчётливей, полнее и глубже становится его образ. И мне кажется, что «незавершённая пастель» – творчество Рубена Севака да и человеческий его облик – с годами завершается самой жизнью.

Шаэн Хачатрян

МОЯ ДУША

Я увидал больной листок в траве зелёной.
Весна была такой прекрасной, окрылённой,
и ликовали луг и пестроцветье трав,
хмель солнечных лучей сполна в себя вобрав.

Но в эту дивную минуту, изумлённый,
я увидал больной листок в траве зелёной;
он трепетал и ник, смиряя гордый нрав,
едва лишь ветерком тянуло из дубрав.

Я в руки взял его и, преисполнен скорби,
в слезах прижал к губам, неловко плечи горбя
и думая: о жизнь, горьки твои дары...

Моя душа — листок, увядший до поры.
Кругом сияет май всё радостней и краше,
а ей невмочь ни петь, ни улыбнуться даже.

Я увидал больной листок в траве зелёной.

1907

ШАКЬЯМУНИ

«Шакья, шакья», — вдалеке звучало.
Солнечных лучей томился сонм,
и пустыня сонно отвечала:
«Шакья» — и опять впадала в сон.

Ученик благого Любомудра,
грустный странник, вечный доброхот
много раньше, чем свершилось утро,
начал бесконечный свой поход.

Позади заветные долины
Ганга, города, их шум и гам
и Бенарес, где неутолимо
праздничный курится фимиам.

Бос, взлохмачен, прямо и бесстрашно
в сёлах и становьях говоря,
заповеди Любомудра страстно
людям он внушал, да только зря.

Он внушал упорно и туманно:
«Вожделенья в сердце сокруши,
дабы снизошла к тебе Нирвана —
дивное небытие души.

О Нирвана! Ни любви, ни рвения,
ни надежд, окутанных тоской.
О Нирвана! О самозабвенье!
О блаженство смерти и покой!»

Не снискав людскую благостыню,
отовсюду изгнан, словно пёс,
Любомудра он искал в пустыне —
одинок, взлохмачен, наг и бос.

Распластался на песке, и в шаге
от него невидимый палач
слух его терзал, и зовы «Шакья»
слышались в безлюдье, словно плач.

Ужас, ужас. Был простор безлюден,
и, пример являя и почин,
в святости и знаньях абсолютен,
будда Шакьямуни опочил.

«Шакья, Шакья», — всхлипом изливалось.
Сонм лучей сиял и был красив,
и пустыня сонно отзывалась:
«Шакья» — на отчаянный призыв.

«Шакья, Шакья», — всхлипом изливалось...

ОПЬЯНЕНИЕ ЛЮБВИ

Посвящается mlle Yanni Appel

Ты Чудо, ты Мечтанье, ты Любовь,
цветок нездешний, красотою правый,
ты храм из плоти, ладанной отравой
с ума сводящий и пьянящий кровь;
ты Чудо, ты Мечтанье, ты Любовь.

Волной волос омой моё лицо,
поведай мне их тайны — их немало:
их сеть меня стреножила и смяла,
повергла наземь и взяла в кольцо;
волной волос омой моё лицо.

Как влажны и грустны твои глаза!
Их яд мне в душу осторожно впрысни —
они прекрасны и загадкой жизни
полны, как заповедные леса.
Как влажны и грустны твои глаза!

Как отрока, прижми меня к груди,
горящие, пылающие щёки,
дрожащие в истоме или шоке,
руками ледяными остуди;
как отрока, прижми меня к груди.

Твоя печаль мне иссушила рот,
и всё-таки слезу с моей ресницы
твой поцелуй — нет, это мне не снится —
через мгновенье нежно подберёт;
твоя печаль мне иссушила рот.

Страсть и томление — вот глаза твои.
Нельзя сказать яснее и короче:
твоя душа пьяна — пьянее ночи
весенней, вожделеющей любви;
страсть и томление — вот глаза твои.

Мир опустел, в нём только мы да тишь.
Пусть губ моих коснутся губы эти.
Закрой глаза. Забудь про всё на свете.
Но что это, ты плачешь? ты дрожишь?
Мир опустел, в нём только мы да тишь.

МОЛЕНИЕ К ЗОЛОТУ

Беднякам

По коре нашей грустнорождённой земли
вдоволь странники-ноги мои пробрели.
Братство — вот что искал я сначала, но вскоре
всё кругом заслонили мне бедность и горе.
Подле роскоши видел я всюду в слезах
матерей-побирушек с мольбою в глазах.

Кто ты, золото, кто ты, ведь блеск твой и силу
человечество исстари превозносило
раболепно, ликуя, без усталости, всласть?
Объясни, навсегда ли она, твоя власть,
и ответь, неужели вовеки и присно
будет воля твоя ненасытна, корыстна.

Тот, кто первый когда-то на жилу напал,
и не спал день и ночь, и тебя откопал,
и укрыл в тайнике, и от грязи очистил,
и, присвоив, поставил превыше всех истин, —
тот, увы, не заметил, тобой ослеплён:
это пал Человек, а не только лишь он.

Плач отчаянья, голода, пеня глухая
отовсюду доносятся, не затихая.
Как оплатишь ты скорбные эти счета?
Тянет тощую руку к тебе нищета,
а на улице, в торжище сытых и сильных —
столько жалких сирот, бесприютных и сирых.

Снизойди, снизойди с высоты к малым сим,
к их угрюмым лачугам сырым и косым,
озари своим блеском убогие дали,
где тебя от начала времён не видали,
где всё ждут и надеются — ты снизойдёшь.
Снизойди, как весенний живительный дождь!

ЛЕМАН

Гранту Назаряну

Как ветер вечерний покоен и сладок
и полон утешным дыханьем заката!
Темнеют цветы, и поёт без оглядок
лесная пичуга, звонка, языката.
Как ветер вечерний покоен и сладок!

Волшебны и сладостны, как сновиденье,
темны, словно страстные взоры-укоры,
вытягиваются вечерние тени
и нежно ложатся на воды и горы,
волшебны и сладостны, как сновиденье.

Меж рослых деревьев легко затеряться
Леману во тьме, а сполохи всё реже.
С нездешним изяществом сказочных граций
алеют и манят пески побережий,
хотя в темноте так легко затеряться.

И озеро ширит пути и проводы
к подножию Альп изумрудных и к нивам
вдоль Роны, в которую синие воды
Леман изливает потоком ленивым,
и озеро ширит пути и проводы...

Помалу сгущается тьма, заозерье
расцвечено брезжущими огоньками,
и снежные выси на сонную землю
сиянье струят, как струили веками;
помалу сгущается тьма в заозерье.

На зыби озёрной едва различимой
качаются лёгкие лодки, упруги,
и эхо любовной — и медоточивой
и горестной — песни трепещет в округе
на зыби озёрной едва различимой.

Признайся, Леман, мне, и пусть между нами
останется тайна любви и, немая,
то воды твои будоражит волнами,
то зеркало их сотрясает, ломая.
Останется тайна твоя между нами.

О как ты взволнован, любовью болея!
Скажи, ты влюблён в эти снежные выси?
А может быть, в лебедя, снега белее,
с чьим дивным полётом ты так и не свыкся?
О как ты взволнован, любовью болея!

Подай же мне голос, исполненный боли,
поведай мне коротко или пространно,
что, как и моё, твоё сердце в неволе
и кровоточит, как открытая рана.
Подай же мне голос, исполненный боли.

Признайся, Леман, и раскрой свою тайну.

ТЫ ПОЁШЬ, ДАСИАНА

Ты поёшь, Дасиана, моё божество,
и под нежными пальцами клавишей стоя
восхищённо бормочет о чём-то и, тая,
убеждает, что эта игра — волшебство.
Дасиана, моё божество...

Ты поёшь, и слова, от рубиновых уст
отлетев, затопляют мне душу волнами
и, качая меня, многоцветными снами
вытесняют уныло-бесцветную грусть.
О слова из рубиновых уст!

Нисхождения долгих вечерних теней,
Дасиана, всё чётче и чётче приметы —
в этой комнате вдруг оживают предметы,
и томит и пьянит что ни миг, то сильней
нисхождение вечерних теней.

На твоём пианино в горшочке цветы,
но в соседстве с тобой их терзает досада —
ты овейна сплошь ароматами сада
и, куда поёшь, пахнешь ладаном ты,
и бледнеют в горшочке цветы.

Ты поёшь, Дасиана, моё божество,
моя жрица любви, благовоньями вея,
и в истоме танцует и кружится фея,
обаянья и пенья полна твоего,
Дасиана, моё божество.

Дасиана... Дыханью и голосу в лад
подымается грудь у тебя, и покоя
я лишаюсь, признание твоё колдовское
различив наконец в переливе рулад —
и дыханью и голосу в лад.

Дасиана... И очи хмельные твои,
увлажнённые чувством, и то, что по телу,
я заметил, внезапная дрожь пролетела, —
всё сегодня свидетельствует о любви,
как и очи хмельные твои.

Дасиана, кумир мой, моё божество,
оборви своё пенье, и в это мгновенье
тишина нам изъявит своё откровенье —
поцелуя мистическое торжество.
Дасиана, моё божество.

СЛЕЗОТОЧИВОЕ

Вниз по щеке, вниз по щеке, туда,
где сохнет отпечаток поцелуя,
теки, слеза, смывая без следа
последнюю любовь, уже былую.

По морю ласки, где бурлит вода,
по мёртвым обещаньям — мол, люблю я —
теки, слеза, сейчас твоя страда,
теки, слеза, теки напропалую.

По листьям поцелуев, чей пожар
угас, едва нагрянуло ненастье,
по тем, кто улыбался, но сбежал,

по пеплу Сердца — тлеют угольки —
и по руинам Снов, Надежд и Страсти
теки, слеза, теки, теки, теки.

1907

КРИК

Над потемневшей водой, где вечерний
свет обволакивает тростники,
птичий, исполненный скорбной тоски
слышится крик, безнадёжный и дальний.

Сколько в нём робости, дрожи, надрыва,
как он печален, опять и опять
болью пронзающий каждую пядь
тёмного воздуха до горизонта!

Как соразмерен он, с песнею схожий,
как его грустный и жалобный тон
эхом бесшумным и мягким вплетён
в ежевечернее острое горе!

Так он застенчив, что и не расслышать —
это прощаются с нами все те,
кто умирает, и он в простоте
плачет вздохом о смертях и кончинах.

Плачет о смерти цветов, насекомых,
звёзд, упдающих с неба, лучась,
плачет о птицах, что прямо сейчас
тихо в траве угасают, разбившись...

ЗАКАТ

Брожу на закате. Шальной, беспокойный,
порывистый ветер пронзительно-скор.
Сквозь гул его чудится — звон колокольный
печально и мерно плывёт среди гор.

Деревья над озером с их неустанной
покорностью сносят и бурю и зной,
и тянутся ветви к воде, словно тайной
не терпится им поделиться с волной.

А ветру неймётся, и в лёгкие клочья
он рвёт, налетая и злясь, облака —
бесплотно-красивые, будто бы ночью
поэту привидевшаяся строка.

Брожу на закате. Устала, остыла,
притихла и чутко внимает душа,
как у горизонта дневное светило
тускнеет, и меркнет, и гаснет дрожа.

Как грустно! На небе осеннем ни пылких
алмазов, ни жемчуга, ни завитков
на золототканой, в пурпурных прожилках,
кайме кружевных и резных облаков.

На льдистое море с размытой границей
сплошь серо-свинцовый похож окоём;
осеннее блёклое солнце кренится,
теряется, тает и плавится в нём.

Стемнелось уже. Сколько ветер ни буйствуй,
он за полночь стихнет в нагорных кустах.
В далёкой дали, нелюдимой и грустной,
к гнездовью спешит припозднившийся птах.

ЭДЕЛЬВЕЙСЫ

Ты безропотно думаешь: нет,
этой доли не переиначишь.
Блѣкнешь ты, а сдаётся, что плачешь,
эдельвейсов невзрачный букет.

Увядают твои лепестки,
и роса испарилась мгновенно.
Как тебя занесло в эти стены,
чтобы ты изнемог от тоски?

От болезненной тяги — туда,
к высоте поднебесной родимой,
горделивой и неуглядимой,
где тебя не сыскать никогда.

Это явь или, может быть, бред?
Ты не знаешь и никнешь всё ниже.
О помедли, не вянь, погоди же,
эдельвейсов поблѣкший букет!

ДЕВИЧЬЯ ДУША

Письмо

Полночь. Я пишу тебе опять.
Не пойму, мистическое нечто
не даёт мне в мыслях утопать,
а ведёт за ручку бесконечно
долго по бесчисленным стезям
вдаль — туда, где в грёзах несказанных
женских я невидимый глазам
сказочный тебе воздвигла замок.

Полночь. Тишина. Лишь я шуршу
ручкой по бумаге и не чаю
отклика — пишу тебе, пишу...
Чу, любимый голос различаю:
«Бедная моя!» Безмолвье, мгла.
«Бедная», — с отчаяньем и болью
эдельвейсы вторят из угла.
Помнишь, как мы рвали их с тобою?

Помнишь ли ты нашу чудо-ночь?
Всё не наступало в Альпах утро...
Ниже — Рона, мчащаяся прочь,
выше — небеса из перламутра.

Помнишь непроглядный колдовской
мрак, объявший сонную округу?
Помнишь, исступлённо и с тоской
ты, прощаясь, целовал мне руку?

Прочее печально и старо.
Я судьбу вовеки не винила.
Только вот, увы, дрожит перо,
оплывают от слезы чернила.
Не дал Бог, и не сбылись мечты.
Ты смирился, не снискав удачу,
и одна, не зная, где же ты,
я, тебя благословляя, плачу.

Так и жить всегда вдали и врозь
и не одолеть границ и рамок.
И душа с полей усталых грёз
в сказочный опять стремится замок,
и наитье мягко шепчет мне,
убеждает и не ждёт ответа:
«Ночью ты найдёшь его во сне,
и тогда... тогда вы... до рассвета...»

И да сбудется наитье это.

ВЧЕРАШНЕЮ НОЧЬЮ

Барышне Léna de Cosmis

Слышала через окно ты вчерашнею ночью,
как вместе с бесами страсти моей что есть мочи,
как с исполинами скорби моей роковой
я куролесил неистово на мостовой,
как я под снегом, как в эту промозглую слякоть
то хохотал, то пытался скулить или плакать,
в холод, в безлюдье шаги мои из темноты
слышала ты?

Видела ночью вчерашнею из-за гардины,
как вместе с ветром, обмякшим от этой картины,
как вместе с духами мрака тебе напоказ
кротко, безропотно выполнил я твой заказ —
рыцарь, покорный прекрасной и взбалмошной даме,
сердце своё, труп его в омерзительной яме
я схоронил, — как глаза его были чисты,
видела ты?

Плакала ты ненароком, кусала ли губы
из-за того, что столь яростны, грустны и грубы

эти потуги мои через бред, забытьё
в злую метель искупить злодеянье своё?
О, повстречаться с тобой было хуже ненастья!
О, только тьму ты творишь и рождаешь несчастья!
Ночью вчера у окна, у последней черты
плакала ты?

1908

ПЕЧАЛЬНЫЙ ДУХ

Любовная песня

Скитальцу уготован путь возврата.
Печальный Дух, ты повстречался мне
там, где тебя покинул я когда-то —
ты помнишь? — у ключа, на валуне.

Со дня разлуки, презирая сроки
и беспросветный взор вперяя вдаль,
меня ты дожидался на дороге
и пел, чтоб в песне выплакать печаль.

А я в шальной тоске прошёл полмира
дорогами, манившими в мечтах,
неслышней полуночного зефира,
грустнее, чем вечерний гомон птах.

Я поспешал вперёд, паломник грёзы,
и становилось их всё меньше, грёз,
однако ран своих больные розы
к туманным горизонтам нёс и нёс.

Мечты! Я бредил ими. Изначала
туда, где брезжил свет, не чуя ног,
я шёл, туда, где песнь любви звучала
и где мерцал надежды огонёк.

Но, крылья обломав, вконец пропащий,
к тебе вернулся, натерпевшись мук.
Ты – верный, преданный и настоящий,
Печальный Дух, единственный мой друг.

Так будь со мною и даруй забвенье,
в мою ладонь свою ладонь вложи.
В моей крови – твоё сердцебиенье,
в твоих слезах – вся боль моей души.

Почили наши замыслы благие.
Мир праху их! Обнявшись, мы вдвоём
в честь наших ран отслужим литургию,
мечты и грёзы наши отпоём.

1908

БАГРОВАЯ ТОСКА

Ты был, пилигрим, в том далёком селе —
на лоне величественного нагорья
в руинах лежит оно, прахе, золе
и смотрит на роскошь печального моря, —
ты был, пилигрим, в том далёком селе?

А видел ты старцев убитых, и тлен
и кровь по дворам в этой скорбной пустыне,
и мшистые камни порушенных стен,
прибежищем ящериц ставшие ныне, —
так видел ты старцев убитых и тлен?

Прошёл ты по лугу, где ветхая гать,
извилистой узкой тропинкою, странник?
Вольно этой тропке стремглав убегать,
в полях исчезая и сумерках ранних...
Прошёл ты по лугу, где ветхая гать?

Доныне ль в садах утопает село,
доныне ль в земле изобилье хранится,
доныне ль на ниве легко и светло
колышется и золотится пшеница, —
доныне ль в садах утопает село?

Ты видел с утёса, как полночь зажгла
звезду за звездой, озаряя пучину,
как волны поют, а руины села
баюкают нежно свою же кончину, —
ты видел, как звёзды природа зажгла?

Ты видел погост за высокой скалой
на тихой, залитой луною поляне,
где мученики чуть не вровень с землёй
покоятся, добрые наши селяне, —
ты видел погост за высокой скалой?

Годами я мучусь жестокой тоской
по этой земле, и ручьям, и утёсам,
садам, и погосту, и воле морской,
я мучусь по нивам золотоволосым
тоскою багровой, кровавой, мужской...

Ты был, пилигрим, в том далёком селе?

1908

СОЖАЛЕНИЕ

Вчера в конце утех — ленивой литургии, —
пресытись, на ноги твои смотрел нагие;
на столике своём забыла ты вразброс
флакончик, кружева, прядь мёртвую волос.

Не слыша, как в окно сквозят ветра тугие,
ты в дрёме нежилась, и тут меня другие
раздумья отвлекли, совсем другой вопрос
от снежной статуи твоей, от сладких грёз.

Вдруг мы Бессмертную Любовью величали
начало похоти и плотские печали,
а самку — Женщиной, уж если напрямик?..

Днём встретил я тебя и онемел на миг,
так ты возвышенна была в потоке света
и так был низок я угрюмостью навета.

Вчера в ночи утех отвлёк меня вопрос...

ОСАННА

Путями мечтаний, и счастья, и света
веди меня и увлекай, ведь пока
я вижу тебя, будь мы здесь или где-то,
душа погружается, дивно легка,
в пучину мечтаний, и счастья, и света.

Я душу отдам тебе для всесожженья,
пусть в небо возносится неуследим
в своём утончённом прозрачном круженье
моих вожделений горячечный дым.
Я душу отдам тебе для всесожженья.

Я верую в тайну волос твоих тёмных
и песен и верую в каждый твой жест
и в то, что читаю в глазах этих томных:
земная, ты произошла от божеств.
Я верую в тайну волос твоих тёмных.

Даруй мне прохладную прихоть ладоней
и с морем прохладой ладоней сравнись;
в груди твоей всё горячее и бездонней
любовные волны мнутся: вверх-вниз.
Даруй мне прохладную прихоть ладоней.

Ах как я хочу, чтоб меня обняла ты
порывисто, ласково, как малыша;
пусть я не найду равноценной отплаты,
но как возликуют и плоть и душа!
Ах если бы только меня обняла ты...

Осанна тебе в славе и чудедействе
глаз этих, в которых само естество,
и в трепете губ, и в улыбке, и в девстве,
в неисповедимом сиянье его!
Осанна тебе в этих глаз чудедействе!

Дочь нематерьяльных мечтаний, осанна,
осанна тебе! В кудых лаврах грехов
стремлюсь я к тебе, что как свет несказанна,
веди меня сердцем во веки веков!
Дочь нематерьяльных мечтаний, осанна!

ЛЮБОВНЫЙ ШЁПОТ

Они стремились вдаль, моей любви ладьи,
и с грузом тайн и дум прошли перед глазами
к туманным берегам, их ждущим впереди,
с раздутыми хмельным закатом парусами.

И ровнею богов, как ты ни погляди,
всей снежной святости своей не зная сами,
скользили лебеди моей мечты среди
высоких облаков и взгляды вниз бросали.

Стемнело. Зыблется и плещется волна,
и ветер шепчет мне свои воспоминанья,
и несказанных тайн пучина вод полна.

Какая пена! Камень с ней давно на ты.
Смотрю на горизонт, где, дали подминая,
плывут ладьи любви и лебеди мечты.

Они стремились вдаль, моей мечты ладьи...

РАДИ СВОБОДЫ

Вот ты идёшь к нам, отрясая с ног прах и пепел
вековой,
идёшь, точь-в-точь Сестра, семижды оплакавшая
жребий свой.
Устали наши души ждать и умерли в глухие годы —
приди к нам с факелом в руке, о Жрица гордая
Свободы!

Идёшь, и пламень величавый в твоих очах по временам
под стать рождённым на кладбище бродячим
призрачным огням,
но между тем как вся земля склоняется перед тобою,
зачем глаза твои полны слезами жаркими и болью?

Неужто и тебе, о Жрица Свободы, вспомнились они —
омытые слезами наши рассветы страшные и дни,
и, содрогнувшись, наш закат увидела ты
близко-близко?

Идёшь ты, и твоя стезя, замазанная кровью, склизка.

Да, кровью тех, кто обессилел и малодушничал порой,
и тех, кто смерть испил с усмешкой в бою, как витезъ
и герой,

и тех — им имя легион, невесты, жёны, вдовы, дети, —
кто был истерзан и погиб, чтоб ты царила на планете.

Пройди вдоль их отверстокриких могил, объятых
тишиной,
пройди и возликуй, о Жрица Свободы, чтобы, словно
зной,
огнепалящих слёз твоих их окропили щедро капли —
их души в ледяной земле за годы и века иззябли.

Пройди, пройди по кровопьяной армяносозданной
стране,
и в топоте свободокрылом твоих шагов слышней
вдвойне
пусть тысячи колоколов трезвоном праздничным,
горячим
отметят торжество твоё — отметят радостью и плачем.

1908

УЛЫБКА

В ней, вожденной, ничего
не сказано — всё смутно, зыбко.
О эта женская улыбка,
о мистика и колдовство!

Язык её настолько скуп,
что смысл двоятся и троится,
и не постигнуть, что таится
в твоих глазах, в изгибе губ.

И всё-таки в любом словце
мне слышится рассказ о тайных
ночах любви, о непрестанных
страстях и горестном конце...

И словно ладанной волной,
меня зальёт твоей печалью,
и я тону, и я не чаю
спастись, и ты тому виной.

Как пленник, за тобой бреду.
Дорога ненадёжна, хлипка.
И грозная твоя улыбка
сулит блужданья и беду.

КАК ТЫ БЛАГОСЛОВЕН, РУЧЕЙ!

Кто наивную песню споёт о твоей
красоте безыскусной, вода ключевая,
и о том, что среди луговин и полей
ты по древнему руслу течёшь, напевая,
что тебе всё отраднее жить и милей?

Кто расскажет, ручей, о стремленье твоём
к вековой мечте — диким розам на склонах,
и о том, как ты пенишься ночью и днём,
и о травах, в тебя безнадёжно влюблённых,
у излуки на взгорке отлогом лесном?

Кто нам сможет поведать в полуночный час
о шуршании гальки, о вздохах ракиты,
заглядевшейся в тысячный, может быть, раз
на тебя и о тайнах, которые скрыты
в глубине твоих быстрых, изменчивых глаз?

Ты сызвека не знаешь друзей и родни,
ты, ручей, не боишься ни бури, ни шквала,
и когда умирают в ненастные дни
луговые цветы. как ни в чём не бывало
ты поёшь неумолчно, как пел искони.

Как ты благословен! Ты бессмертен, ручей!
Нет, не станешь ты старше, как не был моложе.
Сколько лет и веков, сколько дней и ночей
ты струишься в своём нескончаемом ложе
и беспечно журчишь... Ты бессмертен, ручей.

И когда я уйду за рубеж бытия —
я, придумавший строки корявые эти, —
стихотворец объявится, глупый как я,
чтобы в сети созвучий — бессильные сети —
уловить эту дикую песню ручья.

И пока ты журчишь всё звончей и звончей,
насмехаясь язвительно и быстротечно
над искусством и бренностью дел и речей,
ты пребудешь бессмертия тенью навечно.
Как ты благословен! Ты бессмертен, ручей!

1908

СКОРПИОН

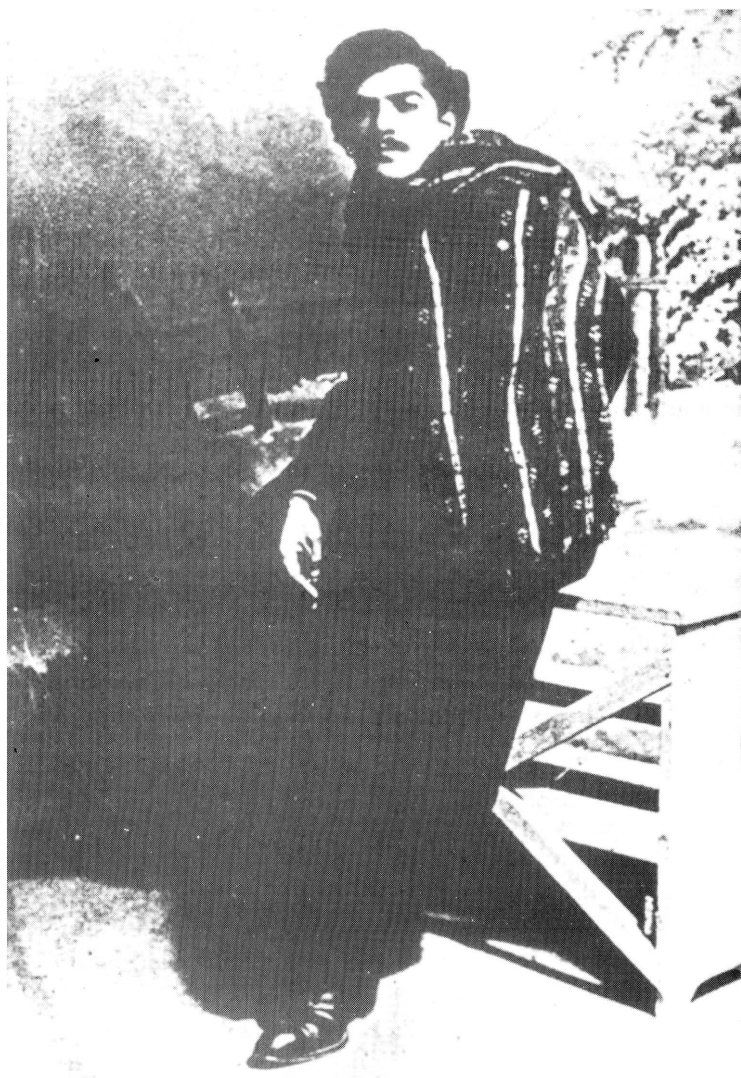
Смеркается. Под мягким солнцем скорпион
пригрелся, маленький, убить способный, страшный.
Погост цыганский нищ, и только я да он
на камне, я да он вдвоём и воздух влажный.

О страсть и похоть! И, лучами напоён,
спиной он чует сласть и кровоток вальяжный,
пока ещё не покидает небосклон
и дышит жаром красный шар, по-царски важный.

Он греется; его я молчаливо чту;
я чту тебя, царь тёмный, ибо вижу
в тебе я Силу, Мечь, Прогорклую Мечту.

Блажен ты, скорпион. Коль ядом налиты
и совесть и душа твои, сомненья выжжа,
под добрым солнцем долго будешь греться ты.

1908



1. Рубен Севак, 1910 г.



2. Рубен Севак и Янни Аппель, Лозанна, 1910 г.

ПРЕДОЩУЩЕНИЕ СМЕРТИ

Вот так, вот так... Свои прозрачные персты
приблизь, любимая, как можешь только ты —
ах, осторожно, жизнь не бери, не надо, —
к моим горячим, да, горячим векам ада.

Склонись ко мне на грудь легко, без суеты.
Послушай, плач и шум окрест не разлиты?
Послушай, нежная моя. О, ты не рада,
что ты пьянишь меня, что ты мне как награда...

Почить, почить... В бессмертье смерть преобразить.
Почить... И пустоту посмертную пронзить
и поразить своей душой неистребимой.

Почить... Ты плачешь? Я считал: в руках любимой,
в твоих руках почить — как эта сладость остра,
смертосладимая, всевластная сестра.

1908

НЕПОНЯТОЕ

Моя душа — непонятая песня,
искорчившийся, хриплый, дикий вой.
Моих скорбей не зная и болезни,
глазами ты привет мне даришь свой.

И слыша смех твой искристый живой,
смыкаю веки я, дабы по бездне
души своей бродить и с головой
уйти во мрак её, жуть и безвестье.

Там горечь памяти, но ты живи,
там болей озеро и, если мало,
там жалкий взгляд растоптанной любви;

там под гранитной аркой... в сердце сбой...
там девушка... Когда б её ты знала,
ты б разрыдалась над её судьбой.

НОЧЬЮ

Кто там на лестнице?.. Кажется, снова...
Звук ли обрывистый смеха шального,
чистый ли плач или же баловство
слышатся мне? Никого, ничего!

Не разогнать ни свече, ничему
эту пещерную мёртвую тьму;
тени подобием доброго знака
угомонились и дремлют. Однако...

Кто там на лестнице? Глухо, крошечно.
Стены ль выплакивают безутешно
сказки кладбищенской ужас немой?
Как он похож, этот голос, на мой...

Мрак ли бормочущий к окнам прилип?
Я ли расслышал свой собственный всхлип?
Или взывает к любви и доверью
ветер полуночный? Кто там за дверью?

КАК В СТАРИНУ

«Скажи нам сказы родины, поэт,
и спой нам песни стародавних лет,
и песнью трубадура нас порадуй,
свежайшей, словно гроздья винограду.

Песнь мёртвых очагов яви на свет —
из тех, языческих, что нынче нет;
их, с факелами шествуя по граду,
в доспехах, шлемах, ряд за рядом кряду,

певали воины перед лицом царя,
божественным величием горя.
Поведай нам старинные преданья!

Мы наши вековые Страданья
отметим пляской с яростью в глазах...»
Старик-поэт молчал. Он был в слезах.

1909

ПОСВЯЩЕНИЕ

Ох, низвергли богов, умертвили.
Музы умерли. (Музы, не вы ли
дали песню мне, благословили?)

И наяд не отыщешь близ вод.
На Олимпе Материя – вот
идеал современный! – живёт.

Трубадур, я искал не почёту,
а любви; не нашёл ни на йоту.
«Смерть, – орали кругом, – идиоту!»

И душа зарыдала: «Уймись!
Подымись надо всем, подымись,
чтобы ясной была твоя мысль».

И сквозь мёртвое солнце в пылу я
ввысь карабкался наудалую
Идеалу пропеть аллилуйю.

В этом мире глухих не кривил
я душой – я её удавил
и завыл, безобразно завыл.

И всем сердцем влюблённой богини
ты вняла мне во мраке и стыни,
и пою я тебе лишь отныне.

ОТЕЦ

Отче наш, иже еси на небесех...

Студёной полночью мела метель сырая.
На каменной скамье у ветхого сарая
полулежал старик-скиталец, одинок.
Вдруг — мальчик перед ним, худой как черенок.

Старик подвинулся, тот примостился с края.
Их взгляды встретились, и странник, обмирая,
узнал, кого, в нужде и горе сбившись с ног,
покинул некогда. Но не вскричал: «Сынок!»

На каменной скамье сиротства мрачной ночью
Господь и Человек увиделись воочью,
и Бог, стыдясь, не смог открыться, всеблагод,

тому, кто рядом с ним сидел почти нагой,
бездомный, в нищете, в её крошечной гуще:
«Я твой Отец, Я твой Создатель всемогущий...»

1909

О МОЯ РОДИНА...

Киликийской крови

*

Как упоительна ночь и ясна!
Как безмятежно окрест и дурманно!
Болью своею объятый, без сна
долго и грустно брожу у Лемана.
Как упоительна ночь и ясна...

Тихие мерные всплески весла
кажутся музыкой парочкам юным.
Павшая с неба звезда проросла
нежным цветком в этом озере лунном.
Издали слышатся всплески весла.

Чудною, сказочною целиной
Альпы над миром снега взгромодили
и серебристо блестят под луной –
древним свидетелем новых идиллий.
Снег на вершинах лежит целиной.

Как беспредельна и сладостна ночь!
Всюду – от выси, луной озарённой,
до онемелых таинственных роцц

и до полей, омываемых Роной,
и беспредельна и сладостна ночь!

*

Ну а тебя, о родная страна,
всепожигающий пламень кровавый
гложет, и заревом озарена,
жертва чудовищной, зверской забавы,
ты издымилась, родная страна.

О моя родина дальняя, где
лебеди, что на Евфрате и Ване
в побагровевшей от крови воде
белым и чистым крылом упованья
грудь рассекли бы жестокой беде?

Край Араратский, священный мой край,
где же сегодня твои пасторали,
где он, наивный мифический рай,
как же мы всё это порастеряли,
край Араратский, священный мой край?

Феи армянских задумчивых гор,
где они, песни, что прежде вы пели,
чтобы их ветер унёс на простор,
и отчего поумолкли свирели,
феи армянских задумчивых гор?

*

Боже! Преследуют вопли меня
тех, кто под ветром судьбы ураганным
прочь убегает от моря огня,
тех, кто слепым поражён ятаганом,
вопли повсюду терзают меня:

«У-у... Это мы, это мы, это мы!
Меч нас разит, опаляет нас пламя,
нет нам спасенья от горя и тьмы,
гонится смерть неотступно за нами,
наги мы и обездолены мы.

Мы погибаем, последки кровей
древних и славных — дрожащие дети
да старики, — нас несёт суховей,
нас не останется скоро на свете,
жалких последков армянских кровей.

Будьте вы прокляты! Пусть на века
кровь наших ран застилает глаза вам,
пусть захлестнёт вас несчастий река
и да соткёт вам грядущее саван!
Будьте же прокляты вы на века!»

*

Как упоительна ночь и ясна!
Пойте ж от счастья! Да будет воспета
этого озера голубизна
и безмятежность блаженная эта.
Как ваша ночь и хмельна и ясна!

Долго брожу я... Броди же, глупец,
слёзы смиряя в душе и унынье,
рвись по курганам убитых сердец
к родине, жутью охваченной ныне.
Выхода нет. Так броди же, глупец!

И вдалеке от пожарищ и бед,
к лире припав, с неизбывной любовью
пой о злосчастье, изгнанник-поэт,

гор непокорных, затопленных кровью,
пой вдалеке от пожарищ и бед.

В тяжком отчаянье сердце скрепя
так и броди одиноко и слепо.
Ну а доколе? Пока для тебя
не прояснится угрюмое Небо,
жди в одиночестве сердце скрепя.

1909

КИЛИКИЙСКИЕ ПЕСНИ

1. СЕЯТЕЛЬ ВОЗМЕЗДИЯ

Тебе, о гнева яростная бестия,
тебе, о помесь чести и бесчестия,
исчадь справедливости, Возмездие,
я песнь пою тебе.

Предам огню свои печали скромные —
пусть горе всенародное, огромное,
безверье, жажда правды неуёмная
песнь воспоют тебе.

И, слитые в одно с конями ладными,
наездники в бою, сверкая латами,
мечами справедливости булатными
песнь воспоют тебе.

Грудь родины моей пронзили молнии,
окрест меня — озёра крови полные,
я знаю, что сулят мне годы дольные,
и песнь пою тебе.

Но коли вдруг меня из строя выбили
и я угаснул — в битве ли, на дыбе ли, —
пусть храбрые апостолы погибли
песнь воспоют тебе.

2. АРМЯНСКИЙ СИРОТА

Бездомен, беззащитен, бос и наг.

– Моя одежда – мрак.

Кто стар, тех голод косит и разит.

– Я кровью нашей сыт.

Твой Бог зарезан в церкви, Бога неть.

– Мой бог отныне – месть.

3. ПОСЛЕДНЯЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Баюшки-баю... Спи крепче, малыш,
ранен отец твой, а ты не услышь
криков его и почмокивай лишь...

Баюшки-баю.

Кровь на земле нашей в доме любом,
но не сдавайся — хоть об стену лбом,
будь здесь хозяином, а не рабом...

Баюшки-баю.

Пусть без отца ты и нет нам житья,
римской волчицею — вместо вытья —
нового Ромула выкормлю я...

Баюшки-баю.

Руки связали, не чувствую ног,
грудь отсекли — из обрубков, сынок,
крови напейся, ты не одинок...

Баюшки-баю.

Родина — мать твоя. Напослед
меч дам отцовский тебе и завет —
будь с ней, сынок, до скончания лет...

Баюшки-баю.

1909

ГОРЯЩИЙ КОРАБЛЬ

Как-то раз я, дитя, с силембрийских утёсов
с тёмным-тёмным восторгом смотрел,
как покойно, лениво, от пламени розов,
пароход, как солома, горел.

Я в ту пору не слышал ещё о Нероне,
Рим предавшем огню для того,
чтобы сладостно арфа его на балконе
трепетала — точь-в-точь естество.

Я не слышал, но там, на скале, в безопасном
удалении жадно внимал —
на закате, громадном, безоблачном, ясном,
гибнет в корчах кто жалок и мал.

Был прекрасен огонь и неспешен, как эпос,
величав, как божественный дар;
так дракон огнедышащий медлит, колеблясь —
наносить ли последний удар?

Море было предательски тихим — ни всплеска
(лишь вода становилась красней)
до поры, пока мачта не рухнула резко
и волна не вскипела над ней.

И осталась потом только рухляди гряда
на воде, и последний матрос
смертно всхлипывал в лодке и взглядом, покуда
мог, тянулся к ней, словно прирос...

Я дитя был тогда. Но бывает и ныне:
тьма глаза застилает — и вот
вижу с ужасом в сердце и в смертном унынье,
как горит и горит пароход.

И теперь, Жизнь-Корабль, я тебя постигаю —
как беззвучный набат роковой,
ты горишь над пучиной трагедий, такая
безысходная вся, что хоть вой.

И мне мнится, Любовь уплывает сегодня
от меня, как последний матрос,
и такой же, но только ещё безысходней
взгляд её — он ко мне как прирос...

Ты горишь и горишь над пучиной трагедий...



3. С Янни, Лозанна, 1910 г.

4. Янни с детьми - Шамирам и Леоном





5. В студенческие годы

ПРОСТИТУТКА

Григору Зограбу

Промозглой полночью в начале декабря
стояла ты во влажном свете фонаря;
пел дождь, туда-сюда сновали экипажи;
судьбы ли ты ждала? возврата ли пропажи?

С распутной наглостью на каждого смотря,
отчаянье и боль ты прятала, но зря,
и не было в груди твоей красивой даже
крупницы страсти, нет, а лишь тоска всё та же.

Ждала, готовая покорно, без души
и благосклонного самца не выбирая,
любому тотчас же отдаться за гроши.

И, жалость ощутив и похоти толчок,
ту ночь с тобой провёл бы, видимо, сестра, я,
когда бы слёзы вдруг не остудили щёк.

Промозглой полночью в начале декабря...

СТАРИННЫЙ МОТИВ

Госпоже А. Теодик

Должно быть, к нам ветры тебя занесли
сегодняшней ночью из дали далёкой,
и сердце исполнилось снежной дорогой,
неведомой, грустной, до края земли.

И, тотчас печалью своей захватив,
навевя мечту о возвышенной доле,
как отзвук молитвы, как эхо юдоли,
ты льёшься в окошко, старинный мотив.

И всё повторяясь, опять и опять —
простой, незатейливый и безыскусный, —
с порывами вьюги томительно-грустной
доносишься ты, и куда уж там спать!

О, как ты трепещешь! И, оторопев,
я вздрогну, не в силах с догадкой расстаться:
отходная жизни моей, может статься,
бесхитростный твой и наивный припев?

А ветер, врываясь в полночную тьму,
тебе подражает — бесцельно, без толку.

О чём ты рассказываешь втихомолку
деревьям и плачут они почему?

Метельная ночь в заснежённом окне
наивным, простым, безыскусным, тоскливым,
щемящим до боли старинным мотивом
сомнения разбередила во мне.

Мотив оборвался вдали. Но, смятён,
я слышу его среди ночи кромешной;
душа растревожена и безутешна
и плачет умершей мелодии в тон.

ЗВЕЗДА

Каждый вечер, как в небе уставшее плавать
погружается солнце в кровавую заводь,
а на горы ложится туманный покров,
я смотрю на тебя, о Звезда вечеров.

Я не знаю, Звезда, как тебя именуют,
и меня о тебе перетолки минуют;
знаю только: с младенчества, душу знобя,
о Звезда вечеров, я смотрю на тебя.

И с младенчества вижу тебя в той же точке
небосвода с улыбкой раскрывшейся почки.
И неважно, что множество звёзд и миров —
я смотрю на тебя, о Звезда вечеров.

Те надменны и недостижимы, ты ж вон там,
низко-низко над нашим горишь горизонтом,
одинокое лучи свои в море топя.
О Звезда вечеров, я смотрю на тебя.

Ты и есть, и, точь-в-точь световые миражи,
безнадёжной Надежды обманнее даже.
Но когда мне тоскливо и дух не здоров,
я смотрю на тебя, о Звезда вечеров.

Жизнь — короткая песня. И в чём она, Боже?
Упования ложью становятся позже...
Старо сердце моё, но доныне, любя,
о Звезда вечеров, я смотрю на тебя.

1909

ЕСЛИ Б ТЫ ЗНАЛА

Если бы только ты знала, сестра,
сколько ищу я тебя на ура,
слепо весь день и всю ночь до утра,
если б ты знала!

Мы не знакомы, но сколько же лет
я для тебя извлекаю на свет
песни из раны, что так вопиет,
если б ты знала!

Юная, словно в полях зелена,
кроткий твой дух опаляет меня
адским накалом такого огня —
если б ты знала!

Люди суть люди, но чтоб убедить
в этом себя, столько разбередить
боли пришлось, и пора уходить, —
если б ты знала!

Сколь упоителен блеск твоих глаз...
Бедная, как же недобро на нас
жизнь из могилы взирает сейчас,
если б ты знала!

Но кто красив, не умрёт целиком.
— Как хорошо мне, — ты шепчешь тайком,
тихо вздыхая, но только по ком?
Если б ты знала!

Влажны глаза твои, сочны уста...
Лишь у того, кто страдал, неспроста
и непритворна любовь, и чиста —
если б ты знала!

Что, непонятно? Ах, если бы в грудь,
в сердце моё ты могла заглянуть,
то полюбила б меня хоть чуть-чуть...
Если б ты знала!

1910

ИХ ИСТОРИЯ

Видение, явь ли? На поле, покрытом золой,
бессчётные кости столетьями высятся — слой
на слое — подобием башни в минувшем глубоком,
которая к Богу тянулась и проклята Богом.

История этих костей? Не ответит никто,
какой из титанов в скелеты на этом плато
злосчастный народ превратил, от какого циклопа
злосчастный народ принял гибель ещё до потопа.

Никто не ответит, в каком роднике и когда
тёк яд иступлений кровавых — отнюдь не вода,
напившись которого, как поражённая в темя,
легла эта горстка бойцов, это храброе племя.

Кострища погасшие, древние, словно скелет,
мне шепчут: «Они воевали три тысячи лет,
они воевали со всеми и с Силой слепой,
они воевали с войной и с самими собою.

История их? Это злобная вражья толпа,
руины церквей и раскроенные черепа,
пустыня костей и безмолвья, скорбей и познания.
История их — это кровь, и резня, и изгнание».

Я крикнул: «Восстаньте из праха, скелеты!» Они задвигались, плоть обрели, как в далёкие дни, и там, где лежала костей бессловесная груда, стояли ожившие люди — поистине чудо.

Но лишь поднялись они на ноги, в этот же миг один на другого набросился сброд горемык, и страшно мне было, и горько, и невыносимо смотреть, как свирепо кидался родитель на сына.

Когда ж полегли они сизнова, я прошептал со вздохом, что люди есть люди; однако же там, в побоище, в смуте видения, словно в тумане, старик проходил. И заплакал он: «Это армяне...»

1910

ТРИ ВСАДНИКА

Три всадника промчались в тишине
по полю, три соперника бок о бок;
один из них на вороном коне
гнал наобум, не разбирая тропок.

Три всадника промчались в тишине
по полю; у второго конь был рыжий,
и вспыхивали розами в огне
следы его копыт, весельем брызжа.

Три всадника промчались в тишине
по полю; и безжизненно за третьим —
он был на старом белом скакуне —
стояло всё, что на пути он встретил.

Один был Грех, другой Любовью был —
кто по сердцу тебе, за тем и следуй;
а третий, Смерть (не ты ль над ней трунил?),
ещё одержит над тобой победу.

ВОСТОК

На одной из глядящих на море высот
я взволнованно жду — солнце мне припасёт,
словно сладкой отравы, лишающих дара
речи дивных закатных сполохов Скютара.

Прямо передо мною — какой-нибудь шаг, —
позабыв о пастьбе, работяга-ишак
тянет шею кривую, крутую со взгорья
к пламенеющим далям на Мраморном море.

Сколько мачт на Босфоре! Смотрю, всё темней
и быстрее скольжение их нежных теней;
я смотрю на небесную чудную тягу,
на себя и опять на него, работягу.

Старый этот ишак, он смиренно испил
жизнь свою и молчал, не ревел, не вопил,
а ведь мог бы — до одури, обезголосев, —
оттого про него говорят: он философ.

Старый этот ишак, его не одолеть
с его крепкою шкурой, которую плоть
задубила, не терпящий ора и вздора,
погружённый в себя и с осанкой актёра.

Сын природы, он прост, но глубок и богат
ставший фоном его бесконечный закат,
полный бездны и вечности, слёз и восторга.

– Вот немая история, эпос Востока.

ПЕСНЯ О ЛЮБВИ И СМЕРТИ

Пусть жизнь моя будет тягучей мольбой,
глухим причитанием, пеней пространной,
и сердце, которое полно тобой,
да будет зияющей сладостной раной,
пусть жизнь моя будет тягучей мольбой.

Я грусть полюбил, хоть она и остра,
как терн под зелёной и нежною кроной.
Какая крошечная темень, сестра,
в душе моей, взглядом твоим осенённой!
Я грусть полюбил, хоть она и остра.

Приди же ко мне, как луна хороша,
яви мне свой призрачный свет стеаринный
и вмиг освети, ликованием дыша,
надежды моей безнадежной руины.
Я – Смерть, ты же будь, словно Жизнь, хороша.

Я твой навсегда с головы и до пят,
пусть в песнях моих твоё имя струится,
пусть жизнь моя пенится, как водопад,
который к тебе, низвергаясь, стремится, —
я твой навсегда с головы и до пят.

Глаза твои — две эти бездны — люблю,
они как сосуды с вином причащения;
припав к ним, я сердце и дух укреплю,
очищусь, как грешник, приявший крещение;
глаза твои — две эти бездны — люблю.

Приди же ко мне, как пришла в мои сны,
и я прошепчу с нерастроченной силой
слова, что могучи, как Смерть, и грустны,
как ветер над тихой моею могилой, —
приди же ко мне, как пришла в мои сны.

Я словно челнок, запропавший средь волн.
Так дуйте свирепей, ветра, и не верьте
мольбам и рыданиям, несите мой чёлн
из бухты Любви прямо к берегу Смерти;
я словно челнок, запропавший средь волн.

1910

ЛЮБИ!

И ручеёк печальной песней,
и луг, и всходы в затрапезе,
и жаворонок в поднебесье
«Люби, — твердят мне, — ты умрёшь».

И лира, жалости не пряча,
который год твердит мне, плача,
одно и то же: «Бедный мальчик,
люби, люби, ведь ты умрёшь...»

Роса, и мотылёк, и ветер
не забывают о совете
своём: «Одно и есть на свете —
любовь; люби же, ты умрёшь!»

Смахну слезу, смиряя гордость:
но я любил, в душе лишь горесть
и пепел... И чеканный голос
мне возвещает: «Ты умрёшь».

НЕТ

«Приди, — снова слышу я голос бесцветный, —
приди и раскрой, что лишь лире заветной
под сенью листвы доверял ты порой, —
влюблённое сердце своё мне раскрой!

Устав от любви и подруг вероломных,
приди же, лесов и нагорий паломник,
петь птичьих рулады смятённой души,
бродить меж деревьев и плакать в тиши.

Приди и поймёшь — я безмерно богата,
я сердце холодных бездонных миров,
приди, я кровавое сердце заката
и сердце кладбищенских сирых ветров.

Приди, ты созрел для меня и в нетленных
моих ипостасях, моих проявлениях
бессчётных разлейся, стань ими, ведь я
сильней и могущественней бытия.

Приди, упокойся во мне под надгробьем.
Какое блаженство — быть мёртвым, подобьем
и частью того, что во всём разлито!
Ничем стань отныне и влейся в ничто».

О нет! Не свершились ещё мои сроки.
Позволь мне пройти по тернистой дороге,
тернистой, однако ведущей к любви.
Нет-нет, я не слышу призывы твои...

Но голос всё так же зовёт, затрапезный:
«Приди же, кань в бездну и сделайся бездной,
пусть прах стихотворца родит не сонет,
а свет светлячка или деревце...» – Нет.

1910

ПАТРИАРХ

Словно древний богатырь столетний,
чуя — день его настал последний,
некогда прославлен и воспет,
меж руин блистательных побед
волочит свой труп в раздумье строгом
бесконечно схожий с падшим Богом
старый патриарх.

Одеяния его льняные
обветшали; неспроста иные
думают: живёт он сто веков.
Археолог уяснил, каков
путь его, из клинописи скальной.
Через времена идёт печальный
древний патриарх.

Очевидец лютой и жестокой
вечной схватки Запада с Востоком,
видевший могилы ста племён,
цепкою живучестью клеймён,
он своих веков — мятежных, кротких —
не сочтёт никак на чёрных чётках,
тёмный патриарх.

Не его ли золотое слово
отделяло доброе от злого?

Это он, к азийской глуби зван,
вёл за караваном караван,
раздавая сирому народу
как отец и свет, и хлеб, и воду,
мудрый патриарх.

Это он и рать неотвратимо
отступали под напором Рима,
и соседи-варвары ему,
грозные, несли разор и тьму,
а ведь, царь царей, своей десницей
их вождей впрягал он в колесницы,
гордый патриарх.

Но поскольку минули столетья,
и владыкой стала смерть на свете,
и её законом мы живём,
то, как гнус зудит над мёртвым львом,
лает и визжит щенячья свора
в час, когда, как Бог, идёт сурово
бедный патриарх.

Лучше б он не вспоминал бывшее —
Хайк, Ара, Нерсес у анаоя,
Артавазд, Тигран, Вардан, Аршак;
величав и звучен каждый шаг,
каждый звук имён их — это благо...
Жалок он, кого зовут «бродяга»,
дряхлый патриарх.

Где же его крепости, твердыни,
вотчины, сады и замки? Ныне
всё его богатство — сотни ран;
он гоним с Кавказа то в Иран,
то в Ливан, святой пастух со стадом,

чуждым и покою и отрадам,
чистый патриарх...

Но в его тревожной жизни всё же
есть надежда — дочь: на бездорожье
тропка и в сухом саду росток
беззаконный, жаркий кровоток
у народа гибнущего, чудо!
Только для неё живёт покуда
скорбный патриарх.

Вечером домой вернулся. Боже!
Дочки нет. Похищена? А может,
и мертва? В глазах темным-темно.
Поджигает хижину, гумно,
разгоняет стадо и на кляче
отправляется в дорогу, плача,
шалый патриарх.

Кто же он — герой легенд, преданий?
Нет, он спутник твой. Когда в тумане
райский край увидишь, загляни
вдаль, за горизонт; в былые дни
там и жил в сгоревших ныне гнёздах,
почитая тяжкий труд за роздых,
дивный патриарх.

А теперь, свой дом спалив, куда же
толпами бредут они — под стражей,
в кабаке, в лесу, на мостовой
умирать? С седой головой
в каждом из толпы, со всеми вместе
умирает и не жаждет мести
добрый патриарх...

1910

ПОБЕЖДЁННЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ

Ты знаешь о князе, который,
свершив много доблестных дел,
пройдя через доли и горы,
красавицею овладел?

Он выбрался из бездорожий,
он многих сразил наповал,
врага пересилил и всё же
красавицу завоевал.

Та хмелем его опоила,
и князь обо всём позабыл,
врага позвала-известила,
и враг его подло убил.

Князь умер во сне и не страждал —
объятыя, дороги, бои...
О смерть моя, так же однажды
меня усыпи-опои.

ГРЕШНИЦА

С неба мечтаний, из горней
замкнутости и печали
вниз я спустился покорней,
нежели был вначале.

Розы любви ветерку я
отдал и — сизвыси долу —
наземь сошёл, тоскуя,
с призрачного престола.

В илестом рву — вот палаты! —
взял я тебя вдохновенно;
тёмной, как грех, была ты,
огненной, как геенна.

Знала б ты, телом драконьим
муча меня и пороча,
Бог своим ликом иконным
ад освятил той ночью.

ТРУБАДУРЫ

Друзьям-поэтам

Трубадуры! Вот они, взгляните.
Им плевать, беспечным, что в зените
солнце и на площади жара!
В окнах показалась детвора,
взрослые. Но зной палит и сушит;
мало кто торопится послушать
трубадуров.

Вид их странен. Женщины, мужчины —
как семья бездомных, без причины
париев, отверженных судьбой.
Уличные гении, любой
среди них мечтает быть свободным,
с песней жить, а умереть голодным,
трубадуры.

От судьбы обманчивой и хлипкой
на лицо их сумрачной улыбкой
знание жизни горькое легло;
в шутовском их облике легко
различить издёвки след игривый;
по сердцу ли вам с седою гривой
трубадуры?

Из родного По их даль манила.
С песнями дошли они до Нила,
до Урала; их пути вели
к острым скалам Огненной Земли...
Сколько тех, с кем обок шли и жили,
в странствиях в могилу положили
трубадуры!

Этот век машин, железа, брюха
не сломил приветного их духа.
В городах, отдавшихся тельцу
золотому, бедность им к лицу,
и живут свободными Природы
искони родимые сироты –
трубадуры.

И меня с собой возьмите – сердце
жаждет отойти и отогреться!
Вместе, насмехаясь и скорбя,
будем по Земле влачить себя,
вечны, как она, необоримы,
странники, бродяги, пилигримы –
трубадуры.

Ибо мы, поэты, песнопевцы,
мы, князья стихов и отщепенцы,
мы, изгой, мы, из-под рвань
чувствующие – нам сам Бог ровня,
мы, непонятые гордецы и судьи,
мы, поэты, мы и есть по сути
трубадуры.

Мы, чья песнь почерпнута из раны,
мы, чьи судьбы злы и бесталанны,
мы, пока другие за столом

знай пируют, с Музой о былом
вспоминаем, ибо мы — родиться
опоздавшие былых традиций
трубадуры.

Пусть! И шума-гомона не слыша,
вдохновенье к нам приходит свыше,
и любой из нас душой богат:
наши — росный луг, ручей, закат
и дыхание могилы тоже;
с старыми богами чем-то схожи
трубадуры.

Мы клеймим иронией искусной
гнусных венценосцев жизни гнусной,
омерзительный её испод;
не бывать рабами у господ
рыцарям свободной речи, верьте!
В этом наша гибель и бессмертье,
трубадуры.

Человечеству нужны фигляры?
Наши души нынче суть товары:
мы сварганим песни для продажи
из обид, и бед, и скорби даже.
«Смерть одна»? Нас каждый день секира
рубит, новых гибнущего мира
трубадуrows.

Но к лицу ль нам, утишая голод,
потешать в унынье впавший город?
Агнцами за пастырским рожком
двинется за нами мир, влеком
песнями, что мы споём стоусто,

мы — живые мёртвого Искусства
трубадуры.

Боже, что за век и что за эра!
Всё, что было в нас, любовь и вера,
рухнуло, и человек пропал;
золото повсюду правит бал.
Только мы средь тех, кто душу губит,
и хотим любить. А нас-то любят,
трубадуры?

Умерло Искусство то святое
вместе с честью, правдой, добротою,
когда шли счастливою гурьбой,
чуть хмельной, под звонкою трубой,
из дворца в дворец неся небесной
арфы трепет сладкозвучной песней,
трубадуры.

Думаю сегодня о предтече
трубадуров, о Гомере, в речи
дивные преобразившем гам
будней, певшем людям и богам,
и о тех из нас, кто неустанно
шёл в веках, и о певцах Гохтана —
трубадурах.

Думаю о них и, к сожаленью,
вижу из окна: бедняги с ленью
кое-как поют, играют... Эх,
деньги над Искусством взяли верх.
Нынче надо думать о награде,
и поют лишь милостыни ради
трубадуры.

Вот поют они, томясь от зноя,
то ли насмехаясь, то ли ноя;
небольшая собралась толпа,
и по ней, сняв котелок со лба,
ходит старец, собирая крохи...
Вот они, теперешней эпохи
трубадуры.

1910

СОН

Хороша ли? Не знаю. А холоден лёд?
Знаю только одно: я лицо её вспомнил
как-то раз и проплакал всю ночь напролёт.

Я не знаю, когда познакомился с ней,
но любовь нашу вижу столь ясной и полной,
что сестра бы и та не была мне родней.

Наше детство меж нами чертило черту.
«Поцелуй меня», — грустно сказала она мне;
обомлев, я подставил ей щёку ко рту.

Ну а что было дальше, попробуй реши...
Тем виденьям подобен был сон этот давний,
что порою мелькают во мраке души.

ОДИНОКИЙ

Там, где дальний лежит окоём,
мрак сгустился, но путник ведом
некой силой; эй, где же твой дом?
— Там, где дальний лежит окоём.

Там, где дальний лежит окоём,
мрак сгустился, скорее идём
в дом, где славно живётся вдвоём.
Мрак сгустился; эй, где же твой дом?

Ты один и бездомен, как тать?
Одиночество смерти под стать.
Мрак сгустился, пора перестать
думать, что одному благодать.

Ты мотался, плутал и летал.
Неприкаянный не по летам,
у тебя никого даже там —
там, где дальний лежит окоём...

ПАСТУШОК

Пастушок всё шёл, и шёл, и шёл
тысячу ночей и дней
посреди лучей, теней
к Лунному холму, не видя сёл
тысячу ночей и дней,
шёл с надеждой, только с ней
шёл и шёл.

По горам и по долам всё шёл,
шёл с козлёнком на плече,
руки остужал в ручье,
не был радостен и не был зол,
в кровь сбив босые ступни,
бесконечно дни и дни
шёл и шёл.

— Пастушок, и летом и зимой,
распустив свои стада,
для чего идёшь, куда?
Воротился б ты к себе домой —
путь опасен и тяжёл!
...А пастух меж гор и дол
шёл и шёл.

Тысячу ночей и дней спустя
Лунного холма достиг.
Там был Бог, уже старик.
«Боже, болен я», — сказал. «Дитя,
средства от любви не смог
я найти, хоть сбился с ног», —
плакал Бог.

И козлёнка, думая про нас,
добрый пастушок забил,
кровь его испил — испил,
просветлел и умер в тот же час.
И тогда любовь, светла,
нежною волной тепла
целый мир обволокла.

1910

ПАСТЕЛЬ

Моя душа — постель, и на постели
нет ничего, что привлекло бы взор,
нет ярких пятен, лишь туман и тени.

Пустынный гребень бирюзовых гор —
мой купол веры, сплошь плющом увитый —
глядит в сомненья бездну, как укор.

То вверх, то вниз в сопровожденье свиты
ухабов — это мой неторный путь;
душа — постелью писанные виды.

А горная вершина где-нибудь
в глухой тиши — гранитное надгробье
моим грехам; ах, как их много — жуть...

Ни ручейка, ни рощицы в утробе
ущелья, ни цветочка даже — вот
и весь пейзаж, и только разнотропье...

Но вдалеке от глаз на лоне вод,
затерянных средь камышей и лилий,
как дикий лебедь, жизнь моя плывёт.

И всё дрожит, и дымкою заплывли
края картины, стелется метель,
и сквозь неё — лицо; ты ль это, ты ли?

Моя душа — невзрачная постель.

АРМЯНКА

На чужбине однажды, у озера сидя,
погрузилась в раздумье она... в этом виде,
так решила когда-то, я лучше смотрюсь;
ей, что правда, то правда, к лицу была грусть.

На чужбине, у вод, волновавшихся шало,
я смотрел, как она напряжённо дышала,
словно стыдна (такое придумай поди!)
ноша сладкая юной тяжёлой груди.

Взор её был пьянящею ночью Востока;
столько сил положила она, чтобы только
умной выглядеть... это же тцанье рвалось
укротить прихотливое море волос.

Ей бывало, я видел, и худо и тяжело —
много вынесшая христианская пташка;
вспоминал я невольно, как изнурены
были «нежные жёны армянской страны...»

Что я видел? Озёрные синие губы,
и её тёмно-алые грешные губы,
и крыла лебедей, словно белый атлас,
и крошечную чёрную ночь её глаз...

И, скиталец, едва совладал я со стоном,
безнадёжным, отчаянным и угнетённым:
я б, армянка, тебя полюбил, да невест
лишь телец золотой выбирает окрест.

Этот стан, для любви предназначенный, слабый
отдадут в чьи-то хищные алчные лапы,
что ж, армянка, твой путь и протоптан и прям,
ты умрёшь без любви, ведь любовь — это срам...

Вдруг глаза её, меланхоличны и зыбки,
задержались на мне, и тотчас без улыбки
она заторопилась, в сплетенье теней
жальче всех, беззащитнее всех и грустней.

1911

ВСАДНИК

Не знаю кто, Бог весть куда,
всегда, в жару и холода,
неуследимый как беда,
он молча мчит Бог весть куда.

В закатный час, смиряя страх,
я вижу тень на облаках –
суровый рыцарь впопыхах
проносится Бог весть куда.

Он мчит, а за его спиной
скелеты движутся стеной;
скакун горячий вороной
его несёт Бог весть куда.

Я слышал, он обет блюдёт,
его любовь и слава ждёт
и ждёт могила, где найдёт
и он покой – Бог весть когда.

РОЖДЁННЫЙ АРМЯНИНОМ

Ду-ду, ду-ду... Не твой ли, Боже, зов
мне слышится среди разлива голосов?
Что ж, вот он я перед тобой, гонимый, старый,
под чуждою звездой от чужаков удары
привыкший выносить. Ищу свою звезду
с утра до темноты, дух не переведу —
ду-ду, ду-ду...

Ду-ду... Колокола по сёлам, городам
всегда одну стопу читают по складам:
ду-ду... Везде поют детишки на рассвете,
но тот бедняк, а тот богач, хотя и дети.
Мир вам, царь, господин и нищий в их ряду,
и дай всем Бог того, чего и сам я жду,
ду-ду, ду-ду...

Ду-ду... Жизнь учит быть и в радости скромней.
Босяк зажжёт себе свечу меж двух камней
и улыбается, точь-в-точь дождался манны.
Мы горемычнее. Бездомны, безымянны,
ничем не дорожа, с собою не в ладу
бредём, куда глаза глядят, и я бреду,
ду-ду, ду-ду...

Моё жильё жгут пять столетий, а мой род
в скитальцев превращён и уличных сирот,
отняли из-под ног у нас остаток хилый
земли, кто в землю лёг — нет камня над могилой,
и где пожитки для ночлега ни кладу,
я вижу позади и впереди беду,
ду-ду, ду-ду...

Ду-ду... Невесть куда бреду в скорбях и без
надежд, и вдруг — звезда, упавшая с небес.
А может статься?.. Через два тысячелетия
Ты сызнова пришёл родиться где-то в клети
и в яслях, и туда, меняя на ходу,
свой путь, придут волхвы и с ними я приду,
ду-ду, ду-ду...

Увы. Нет яслей для тебя, Иисусе, и тропы
к сердцам, и нет воды омыть твои стопы,
и подле твоего креста — таких же тыщи,
и в райских кущах — кровь взамен питья и пищи
и твой завет любить осмеян, как в аду,
и мы, бранясь, идём у тьмы на поводу,
ду-ду, ду-ду...

Нет, лучше пребывай вверху, в голубизне,
в обманчивой дали, в чудесном смутном сне,
как символ горький наш, распятый силой злою,
и запад и восток, и небеса с землёю,
и все народы к их отраде и стыду
объедини мечтой: «Я к вам опять грядущ!» —
ду-ду, ду-ду...

Будь утро или мгла, пускай колокола
над миром и страной армян — она гола —
звонят истошно. Наша доля — безрассудно

встречать не жизнь, а смерть, как в шторм и бурю
судно.

Поют колокола и к Страшному суду
подготавливают нас в тревоге и чаду,
ду-ду, ду-ду...

Армянский колокол, над всей планетой пой —
Кавказ, Иран, Босфор, — наперекор слепой
судьбе не замолкай, пой нашу боль и беды,
пой, пой, под твой набат почили наши деды,
пой, колокол, о том, как в некоем году
падёт весь мой народ, а с ним и я паду,
ду-ду, ду-ду...

Где башня высилась — руины и разор,
и кровь среди руин твой обнаружил взор,
и тело Божие твоё, и грязь на платье...
Тебе знакомо всенародное проклятье?
Ослабив святости и благости узду,
народ — весь как один — проклятью платит мзду,
ду-ду, ду-ду...

Ты — голос родины, пой и не смей терпеть,
пой до тех пор, пока свободно можешь петь;
настанет день, когда ты задохнёшься, пленный.
В ту пору кости всех армян по всей вселенной,
утратив колыбель, и почву, и среду,
умрут в своей земле у предков на виду,
ду-ду, ду-ду...

НЕВОЗМОЖНАЯ ЛЮБОВЬ

Один как перст и в стынь и в зной,
когда заря приходит, брезжа,
о невозможной, неземной
любви, которой нет, я грежу.

И пару глаз, шепча своё,
как сквозь туман я вижу где-то,
пронзающих, точь-в-точь копьё,
но начисто лишённых цвета.

Княжна в чертоге: прелесть уст,
черты богинь в девичьем лице,
и поцелуи в кровь и вхруст
немыслимы, безумны, дики...

Я б умер без раздумий за
миф, полный девичьей любовью,
но как ни напрягай глаза —
где ты, любовь? — окрест безмолвье.

ДВЕ СЕСТРЫ

Умерли в сердце надежды, и лиру тогда
выбросил я, мне шептавшую, мол, не беда
вовсе любовь, а великое счастье — да-да!

Брезгая жизнью, уже не жалец и не пряча
этого, плакал я скорбно, и приступы плача
лишь убеждали меня — не могло быть иначе.

Сердце могилою стало; грусти не грусти,
в нём ни мечте, ни желанию не прорасти,
словно под небом пустыни, где жизнь не в чести.

Но почему? Без ответа я плакал у края
сирой судьбы. И в слезинке своей, обмирая,
въяве увидел прекрасную гурию рая.

А пробудился — нет гурии этой святой.
Звал её, звал, преисполненную красотой,
но появилась другая, подобие той.

За руку взяв, повела меня новая Ева
к Смерти, блудя по дороге направо-налево;
это был Грех и его ненасытное чрево.

...Первую гурию нынче я вновь увидал.
Чтоб распрощаться со Смертью, я много бы дал:
гурия – это Любовь... Я, увы, опоздал...

1911

В ЛУННОМ СВЕТЕ

Там дерево с приютом навесным
и мраморное озеро под ним,
и в лунном свете голосом чудным
истории рассказывает галька.

И там, едва стемнеет небосвод,
печальный рыцарь вместе с духом вод
себя своей любимой предаёт,
и кровь и страсть их впитывает галька.

И Царь любви лёг камнем средь камней...
Не плачь, моя хорошая, ей-ей,
мне ведома любовь — она страшней
историй, что рассказывает галька.

Любовь и горечь тех, что день за днём,
немотствуя, мечтают об одном —
как в лунном свете, оживая в нём,
о них заговорит однажды галька.

ЖЕМЧУГА

Ничтожное маленькое существо,
две грубые створки нароста;
оно размышляет, оно не мертво.
— Да это же камешек просто!

Но нет, оно чувствует, плачет. И ты,
две створки раздвинувший, первым
увидишь образчик живой красоты —
слезу его, ставшую перлом.

Пусть должен он чьей-то добычею стать —
таков неизбежный обычай,
зато как он будет, прекрасный, блистать
на шее прекрасной девицей!

*

Вот так и поэт, затворённый в пустой
клетушке убогой и сирой,
взирает на жизнь со своей золотой,
но людям не видимой лирой.

Он чувствует, плачет, что нет никого,
кому он и дорог и нужен,

и песни его — это слёзы его,
кристальные гроздья жемчужин.

Добычею смерти он станет, и пусть,
забытое мёртвое имя,
но песни его будут литься из уст
девичьих и будут живыми!

*

Ах, девушка, знай, что твои жемчуга
и песни, столь ясноголосы, —
и память, которая нам дорога,
и ставшие перлами слёзы.

І. ПРИДИ!

Приди, приди дорогою мечты!
Я запалю в честь встречи факел сердца.
Мост мук моих безлюден — там лишь ты.
Мы встретимся, как два единоверца, —
приди, приди дорогою мечты!

Приди, я твой — твой раб и господин.
Пусть грешен я, но так судьба судила.
Я за тобой тянусь, наш дух един,
я — для тебя кадимое кадило.
Приди, я твой — твой раб и господин.

Я только певчий храма твоего.
А ты? Ты плоть моих бесплотных песен,
ты нимфа юная, ты божество,
мир без тебя мне чужд, и пуст, и пресен.
Я только певчий храма твоего.

Я переполнен именем твоим.
Тебя поют семь ран моей свирели,
и эта песнь грозит безумьем им —
они окровенились, обгорели...
Я переполнен именем твоим.

Дай мне твой алый, словно рана, рот
и к вожделенной сладостной темнице —
твоей душе — открой скорее ход,
чтобы исчезнуть в ней и раствориться.
Дай мне твой алый, словно рана, рот.

Охапку лилий я несу тебе
и лавр моей известности убогой.
Пойми меня, прислушайся к мольбе
и розу страсти пощади, не трогай!
Охапку лилий я несу тебе.

Приди, приди, приди, чтобы любить!
Тот, кто не любит, отдаётся смерти.
Любовь — жизнь жизни, как же не избыть
своей тоски в любовной круговерти?
Приди, приди, приди, чтобы любить!

II. ВЕЧНАЯ СКАЗКА

Всё верно, я всегда к тебе стремлюсь,
я ранен, проклят, вождедею, злюсь,
всё верно, я и впрямь люблю тебя...

Глуха и безответна, как гробница,
меня ты заставляешь то виниться,
то клясться вновь, что я люблю тебя...

Пусть голос искренний моей души
проймёт тебя в полуночной тиши,
затем что я, сестра, люблю тебя...

Жить, примирившись с горечью, забывшись?
Почить, тебя ни разу не добившись?
Скажи, сестра, ведь я люблю тебя...

Вот как могила скрытная душа,
которая тебе не хороша,
но не перестаёт любить тебя...

Ах, отчего я сызнава целую
поправшую меня стопу и злую
любви отраву пью напропалую?..

Прости, сестра, но я люблю тебя...



6. Рубен Севак, Аршак Чопанян, Комитас



7. Р. Севак

III. ТУСКЛАЯ ПЕСНЯ

Хотелось плакать от любви —
ты усмехнулась, дескать, фи
и душу мне перевернула.

Увы, любимая моя.

«Давай споём, — ты мне шепнула, —
споём и больше ничего».

— Но песнь поэта — боль его.

Увы, любимая моя.

Уйди! Любовь мою избуди!

Ты мне загородила путь
губами влажными своими.

Увы, любимая моя.

И ты уйдёшь и даже имя
моё забудешь, согреша,
и плачет по тебе душа.

Увы, любимая моя.

ОТЧЕГО?

Милая, как славно ты жила!
Отчего меня ты полюбила?
Право, мотылька б тебе хватило —
ты пленила старого орла.

Как ты безоглядна и смела,
как юна, свежа и легкокрыла!
Шепотка любви тебе б хватило —
ты зловещих выкриков ждала.

Сколько я терял! И сколько зла
испытал! Мой каждый след — могила.
Ветерка любви тебе б хватило —
против урагана ты пошла.

Выгорят глаза твои дотла,
столько в них огня и столько пыла.
Маленькой любви тебе б хватило —
Божество-Любовь ты избрала.

ВЕСТИ

Эй, путник, шагающий издалека,
из дали, где всё мне знакомо,
что ветер напел тебе, что облака
поведали у окоёма?

О крови, которая льётся опять,
что́ земли тебе рассказали,
ах, путник, те земли, где каждая пядь
полита моими слезами?

Что земли сказали? а ветер в ушах?
Лишь ими и был я привечен.
На этих просторах святых каждый шаг
моими слезами помечен.

Та серая птица большая, чей грай
задохся в пожарах и дыме,
она ещё там или кинула край,
политый слезами моими?

И, верно, от ужаса впав в забытье,
минует пороги и плёсы
та милая речка — с волнами её
мои перемешаны слёзы.

Конечно, помёрзли в полях зелена —
обида глушила я, в них лёжа, —
а новая поросль не помнит меня
и слёз, ею выпитых, тоже.

Но бледный цветок среди бедствий и гроз
не молвил в затишье заката,
что он из слезинки моей произрос,
на луг обронённой когда-то?

А что ж тебе ветер поведать успел
из сотни вестей и сказаний,
который хвалы моей пассивности пел,
от слёз осушая глаза мне?

Жалея меня, про любовь её лгал,
да разве к любви приневолишь?
Пусть скажет ей нынче, что я убежал
в чужие края от неё лишь...

...Эй, путник, шагающий издалека,
из дали, где всё мне знакомо,
что ветер напел тебе, что облака
поведали у окоёма?

СТАРЫЙ ЛЕБЕДЬ

Позабытый людьми в суете городской,
в одичалом саду за решёткой
старый лебедь по пруду скользит день-деньской
с передышкою на ночь короткой.

В этой странной глуши, в заповедной тени
никого вы не встретите, кроме
стариков, что сидят здесь в погожие дни
и на солнышке греются в дреме.

Жизни нет здесь, и птицам невмочь щебетать.
Даже пальму, красавицу сада,
отличает отнюдь не надменная стать,
а всегдашняя грусть и надсада.

Но, тоскою по родине переболев,
рядом с жалкой поникшею ивой
эта пальма — козлёнка свежующий лев,
сил исполненный и горделивый.

Жизнью здесь и не пахнет, и взад и вперёд
старый лебедь — от плавней до плавней.
Неужели не чует, что тут и умрёт,
за унылой решёткою давней?

*

Бедный лебедь! Ни взмыть над землёю, трубя,
ни пожаловаться, как собратья.
Но душа моя так понимает тебя
и бесслёзный твой плач об утрате.

Неразумная тварь? Что ни день видишь ты
пору славную внутренним взором,
когда ты не знавал городской суеты,
а скользил по привольным озёрам.

Зори золототканые, тьму сокруша,
лили свет, и, не чувствуя боли,
продирался ты зарослями камыша
к безъязыкой мечте о раздолье.

Вспоминаешь ты лунные ночи, когда,
словно лотос огромный и белый,
плыл по озеру ты и большая вода
благодарно и ласково пела.

Старый лебедь, увы... Если б в теле твоём
ощутить себя дикою птицей,
чтоб страстям необузданным лишь оком
помешал до конца воплотиться!..

ИДТИ

Идти, идти, идти, с судьбою не лукавя,
без шума и торжеств, не думая о славе,
как тихий ручеек, укрытый в разнотравье.

Идти невесть зачем, идти невесть куда,
идти тайком от всех, минуя города,
идти ночами и не оставлять следа.

Идти, идти, идти без света и лампы,
не ведая ни слёз, ни горя, ни отрады,
и не питать надежд, и не желать награды.

Знать, что среди людей никто тебе не друг,
глухим, слепым, немым, людских чуждаясь мук,
бежать как от чумы от Слова и Наук.

Нематерьяльным стать, стоять вне жизни где-то,
сомнамбуле под стать, и, сознавая это,
уже не ждать в ночи восхода и рассвета.

И не догадываясь, что ни здесь, ни там
нет идеалов и поруган Правды храм,
паломником идти к далёким берегам.

Вдали от Бога и людей, сестра, с тобою
идти — рука в руке — дорогою любою,
точь-в-точь изгнанники, точь-в-точь Мечта с
Любовью.

СВИРЕЛЬ

О свирель, стебелёк мой нескладный,
человек ли тебя сокрушил
или же ураган беспощадный
обломил, закружил, иссушил?

Кто тебя обточил так жестоко
и прожёл, будто выместив злость?
Без росы по утрам и без сока
ты усохла и стала что кость.

Мне вовек не унять этой боли,
не утишить, не сгладить вину.
Пусть тебе не цвести на раздолье,
жизнь и душу в тебя я вдохну!

Так приблизься, свирель, и ответствуй:
разве мне неостанет тепла,
чтобы песня из раны отверстой,
как цветы по весне, проросла?

Я слезами, скорбя и тоскуя,
эти раны омою твои,
и тебе лишь поведать смогу я
о своей потаённой любви.

Мы уйдём, чтобы выплакать горе,
вдаль, где отроду не был я сам.
Пусть родник изливается, вторя
нашим песням и нашим слезам.

Пой же так, как ты плакал той ночью,
весь в зелёных ростках стебелёк,
когда буря ярилась и молча
ты на землю холодную лёг.

Ты дороже насущного хлеба,
я отдам тебе душу стократ;
ты же песню даруй мне, и небо,
и свободный полёт, и возврат.

ЛЮБОВЬ

Семь женских жил на лире у меня
весь день, семью сиротами стена,
внушали мне: любовь не западня.

Языческая страсть не преступление —
она тот идол, перед кем в томленье
сам Бог, пожалуй, преклонит колени.

Любовь — слепая бездна, а не гладь;
любовь — кинжал в груди по рукоять;
кто ей решится противостоять?

Любовь — в любви? О нет, и смерть не в смерти.
Они друг в друге; смерть любовью мерьте.
Любовь — лунатик в лунной круговерти.

Любовь не пир Блаженства, где с азоз
мир ярко-розов или бирюзов;
любовь — обманный замогильный зов.

Любить и быть любимым — сколь духмяна,
сладка наружность этого обмана,
но без него жизнь — ужас, а не манна.

Ты видишь этот ужас, этот мрак?
Он всё во мне смутил, сместил, напрям,
и в нём лишился разума

С е в а к.

НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ

Любовь это то, про что не расскажешь
друзьям и врагам — никому,
с чем утром проснёшься и ночью ляжешь
и в сердце замкнёшь во тьму.

Любовь это то, про что не расскажешь
ни даже себе самому,
чего не свяжешь и не развяжешь
и что тебе не по уму.

Любовь это то, про что не расскажешь
и не доверишь письму
к той самой, кому ни в чём не откажешь,
пусть даже потом в тюрьму.

Любовь не поймёшь, о ней не расскажешь,
потерян ключ в закрому.
Надежды погибли — их не обяжешь
и не удержишь в дому...

*

Ты уединился, и наглухо створы.
и жёлчью истёк; ни к чему уговоры:

мол, выпусти жёлчь. Бесполезны слова.
Нет, ты затворился. Любовь такова.

Шагов не считая, не чуя опоры,
упрямо идёшь, игнорируя споры
о том, что случится, не год и не два
идёшь неотступно. Любовь такова.

Пусть сердце в крови — не послышатся оры.
Вослед за любимой (ах, что тебе шоры!)
идёшь, а душа ни жива ни мертва.
Идёшь неотступно. Любовь такова.

Траве на могиле своей про укоры
любимой молчи, не притягивай взоры
чужие; за гробом ужасна молва.
Таись — и ни слова. Любовь такова.

МЕЧТЫ

Порой по морю чистоты душевной,
как парусники старины волшебной,
проходят вдаль мечты;
охваченные утреннею дрожью,
точь-в-точь ладьи, плывут к престолу Божью
лилейные мечты.

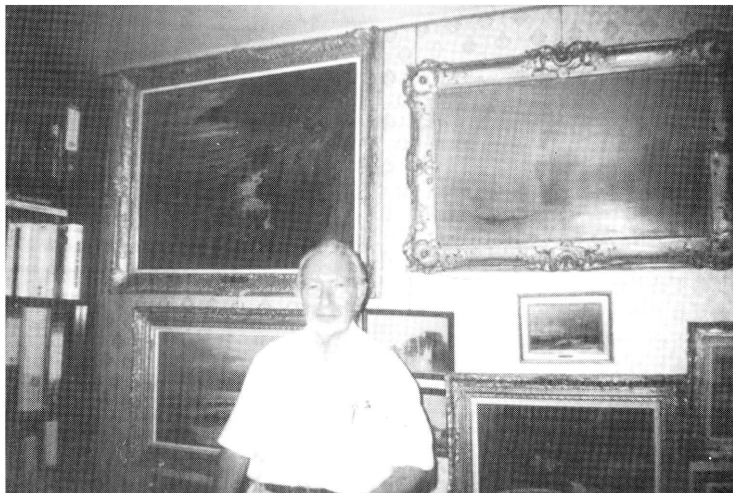
Порой над полем дум моих зелёным,
почти как музы вслед за Аполлоном,
проходят вдаль мечты;
к моим губам, преодолевая муку,
подносят обожаемую руку,
любовные мечты.

Порой и в сердце, на его погосте,
останкам бед моих ломая кости,
проходят вдаль мечты;
так тяжёк шаг их, что мутится разум,
они во мне уничтожают разом
все до одной мечты.

Как я хочу забыть о брэнной плоти,
и воспарить, и в дерзостном полёте
украсть у звёзд мечты,

и хочется летать мне, как дитяти,
но нет, земля — мой крест, моё распятие;
ах, где же вы, мечты?

Пойдѣмте же в последний путь, убоги,
терзая окровавленные ноги,
пойдѣмте же, мечты;
орлиные крыла свои расправя,
оплачем сны о подвигах и славе,
о лживые мечты...



8. Племянник поэта О. Чилинкирян, Ницца, 2001 г.
9. В доме памяти Р. Севака (Ницца)





Scpt. M. 21/12/16

(B. 00101)

КТО-ТО ПЛАКАЛ

Я готов был — мой срок истёк, —
чтобы с жизнью покончить разом,
как осенний сухой листок,
с горной кручи сорваться наземь.

А внизу, внизу и вдали,
где прибой свои волны катит,
взявшись за руки, двое шли
кромкой берега на закате.

И смотрели, как высь и близь
голубым обращалась шёлком,
а потом... потом обнялись,
в поцелуе замерли долгом.

Падал чахлый лист в темноте
зябким-зябким печальным знаком,
и, целуясь, не знали те,
что поблизости кто-то плакал...

СЧАСТЬЕ

Счастье есть, и нет его,
словно пенье райской птицы —
слушаешь, а никого:
то ли чудо, то ли снится...

Счастье — замок, в забытии
видимый: бойницы, ниши...
Многие умрут в пути,
но блажен его достигший...

Счастье есть, и нет его,
как журчащая криница:
пьёшь и пьёшь — и ничего,
утоление только снится...

Счастье — въяве, во плоти
лепет уст твоих всё тише...
Многие умрут в пути,
но блажен его достигший...

АРМЕНИЯ

Кто это плачет под дверью в мороз?

– Странник, сестра, отвори...

Уж не скелет ли там, хриплый от слёз?

– Голод, сестра, отвори...

В щепы топор мои двери разнёс!

– Это резня, отвори...

1913

НОЧЬ ПРИШЛА

Ночь пришла, ушло ненастье,
и неизъяснимой сластью
дышит сонное бесстрастье.
— Жить — какое это счастье!

Пароход исчез во мраке;
может, есть, а может, враки —
горы, рощица, овраги...
— Чувствовать — ах, это счастье!

Свет мне друг и тьма не враг,
и, волнуя душу, дорог
каждый камень, куст, пригорок.
— Божий мир — ах, это счастье!

И часовня непреклонным
тоном шепчет: здесь, под склоном
и под этим старым клёном,
лечь навеки — это счастье!

НОЧЬЮ

Памяти моего брата Хайка

Всё чище и безбрежней небосвод,
тьма на село ложится, гуще тени,
меняют цвет строенья и растенья,
и отовсюду тишина плывёт.

Смыкает очи роза, деревья
безмолвны, и бестрепетны их кроны,
и кипарис утих, и, озарённый
луной, искрится сад едва-едва.

Природа спит, как женщина в годах;
жизнь обмерла; лишь одинокий птах
летит с печальной песней на устах.

И чем надрывней песня неудачи
в глубокой этой тишине, тем паче
я задыхаюсь в молчаливом плаче.

ХМЕЛЬНАЯ НОЧЬ

В воздухе ладан, и нега, и вкус поцелуя,
и благовонья, как если б округу, балуя,
духом своим напояла лесная царица —
в воздухе нынешней ночью такое творится...

Перед зарёй в небе трепет случайный, начальный,
словно любовь, и могущественный и печальный;
звёзды мерцают, а высь через миг озарится —
нынешней ночью на небе такое творится...

Волны озёрные лунной серебряной пеной,
словно колдуя, зовут меня, нет, не степенно,
самозабвенно, мол, магия не повторится —
в озере нынешней ночью такое творится...

Было бы жаркое сердце и влажные очи —
я б на распятье взошёл ради них этой ночью,
и воздала бы любовь за страдания сторицей —
в сердце хмельном этой ночью такое творится...

ИСПЫТАНИЕ

Вновь твои глаза, невероятны,
и непогрешимы и развратны,
искрами, летящими вовне,
возжигают сто надежд во мне.

То созвучна мне, а то обратна,
и неискушённа и развратна,
ты сегодня яд, а завтра мёд;
кто тебя постигнет и поймёт?

Улыбаешься ты мне стократно
и по-детски чисто, и развратно,
и тебе, спокойной, невдогад,
что во мне сейчас лютует ад.

То светла, то как на солнце пятна,
и недостижима и развратна,
ты меня испытываешь вновь;
хочешь изодрать мне душу в кровь?

НАШЕ СЕРДЦЕ

Розе сказал я: «Прекрасная роза,
на сердце тучи, убожество, проза,
скрась мою жизнь, и минёт нас угроза...»

Роза кольнула меня,
высокомерье храня.

— Он мотыльку открывал своё сердце.

Лебедю молвил я: «Лебедь мой белый,
скорбную жизнь мою радостной сделай,
на сердце адов огонь озверелый...»

Лебедь, угрюм и не мил,
в небо немедленно взмыл.

— Это волнам он открыл своё сердце.

Горному пику сказал я: «О снежный,
снегом укутав, душе моей грешной
саван сотки непроглядный, крошечный...»

Но, величав и велик,
хмуро безмолвствовал пик.

— Он водопаду открыл своё сердце.

Девушке молвил я: «Милая пери,
чтоб не угаснуть вконец моей вере,
дай мне приют, отвори свои двери...»

Договорить мне не дав,
пери бежала стремглав.
– Всем он, безумец, открыл своё сердце.

РАДОСТНАЯ СМЕРТЬ

Стихотворец молвил: «Эй, ручей,
и чего ты, свет моих очей,
всё журчишь чем дальше, тем звончей?»

Меж ветвей ракиты, меж пырея,
между роз и лилий, не старея,
знай спешишь — быстрее, ещё быстрее.

Ночью, в лунный облачась наряд,
днём, одолевая сто преград,
ты всему и всем доволен, рад.

Ты б не торопился беспричинно:
добежишь до моря — под пучиной
будешь погребён многоличинной».

Прожурчал ручей: «Моя вода
поспешает, чтобы без следа
раствориться в море навсегда.

Пусть я приближаюсь ежечасно
к смерти, но судьба моя прекрасна.
Не печалься обо мне напрасно».

Стихотворцу боль стеснила грудь,
а ручей, не сетуя ничуть,
с песней устремился в смертный путь.

ТВОЁ СЕРДЕЧКО

Что есть звёзды, пытаюсь постичь я подчас,
в чём их сходство с загадкою девичьих глаз,
что есть облако? кто есть Господь и Предвечный —
просто протоматерия? ветер ли млечный?

Неужели возможно в космической тьме
долететь до конца Мироздания в уме?
Как же Бездна, бездонна воистину — или?..
А Бессмертие — просто красивое имя?

Глуп я, что размышляю об этом всерьёз,
ведь когда я до этих высот не дорос,
ты меня, обожаемая, полюбила;
почему ж, полюбив, разлюбила, забыла?

Твоё сердце-сердечко познать я не смог,
что скрывается в нём, для меня невдомёк,
между тем до сих пор философствую всё же:
что есть звёзды и чем бишь с тобой они схожи?

ЗАВТРА

«Завтра», — печально ты произнесла.
Вечером? утром? какого числа?
Два эти слога — добра или зла
вестники? Это немыслимо — «завтра».

«Завтра». Тогда как сегодня уже
ты так прекрасна, как при мираже,
ибо, могущественные, в душе
эти мгновения властвуют. Завтра?..

Завтра любовь или завтра беда,
завтра — всегда или же никогда,
завтра — надежда, что скажешь ты *да*
или же *нет*? Ты промолвила: «Завтра...»

Жаждешь, чтоб завтра померк белый свет,
и потерялись дороги планет,
и не пришло б оно; *завтраго* нет,
это могила, душа моя, — завтра...

НАБАТЫ

Лужицы крови, стенанья, рыданья...
Вновь этой полночью — в пору страданья —
в стенах души, где удушье и чад,
мрачные песни набата звучат.

Это набаты с их тёмным, приметным
и необузданным голосом медным,
смерть обещающая зловеще и кровь,
гулко под черепом бухают вновь.

Звон... Из отчаянья, плача и брани —
злой аллилуйи — и воплей на ранней
утренней зорьке рождается он,
дикий, бездонный, чудовищный звон.

А на закате пурпуровом вражий,
воюющий в жутком предательском раже,
слышали вы разноречивых голосов
нами наевшихся наших же псов?

На горизонте горящем, багровом
видели вы под Господним покровом
полные нашей любви и тепла
смертью помеченные купола?

Сызнова пурпуром застит мне очи...
Хрипы всё тише и вздохи короче;
смерть, и кучкуется подле неё,
каркая, угольное вороньё...

Неизъяснимые эти набаты
слушаю, скорбью и болью объятый;
в стенах души сквозь удушье и чад
сызнова в полночь их песни звучат.

ПРИМЕЧАНИЯ

Стихи Р. Севака расположены по хронологическому принципу, хотя полностью соблюсти его практически невозможно; там, где поэт не ставил дату написания стихов (а чаще всего он её не ставил), учитывается дата первой публикации, а также даты, проставленные на рукописных тетрадах его не опубликованной при жизни лирики.

Подавляющее большинство стихотворений, включённых в книгу, переведено на русский язык впервые; тринадцать из этих переводов были напечатаны в томе «Армянские поэты нового времени» (Большая серия «Библиотеки поэта», Ленинград, 1983) и перепечатаны в книге Р. Севака «Стихи» (Ереван, 1998), остальные выполнены специально для настоящего издания.

К стихотворению «Моя душа»

Сонет – излюбленная стиховая форма Р. Севака. Но уже в первых своих опытах он отклонился от классических её вариантов (итальянского, французского, английского сонета) и разработал новый, индивидуальный, со схемой рифмовки в катренах *аабб аабб*. Обращаясь изредка к итальянскому и французскому сонету, в большинстве случаев Севак прибегал именно к этому варианту, соответствий которому нет ни у русских, ни, кажется, у французских авторов; в одном или двух своих сонетах использовал эту схему М. Мецаренц.

К стихотворению «Шакьямуни»

Шакьямуни – в буддийской традиции последний земной будда, то есть человек, достигший предела духовного развития; известен также под именем Гаутама.

Бенарес – город в Индии, принадлежавший по преданию богу Ишваре; Ишвара – одно из множества имён Шивы, входящего наряду с Брахмой и Вишну в триаду верховных богов индуизма.

Нирвана – одно из основных понятий буддизма, означающее состояние полной отрешённости от земных страстей и стремлений, наивысшей свободы, покоя и блаженства; не достигнув нирваны, человек не может стать буддой.

К стихотворению «Леман»

Леман – французское название Женевского озера; из него вытекает река Рона. Русские поэты неоднократно писали о Женевском озере (Тютчев, Полонский), но название Леман использовалось редко; например, у Случевского: «Вечер на Лемане», «В бурю» («Я приехал к тебе по Леману, и сердит, и взволнован Леман!»).

Грант Назарян (1884–1963) – литератор, приверженец футуризма, друг Р. Севака; при его содействии Севак издал свою «Красную книгу».

К стихотворению «Как в старину»

Один из немногочисленных у Р. Севака отголосков так называемого языческого движения, сложившегося в западноармянской литературе незадолго до национальной катастрофы. Заметнее всего это движение сказалось в творчестве поэта Даниэла Варужана (книга стихов «Языческие песни») и драматурга Левона Шанта (пьеса «Старые боги», доньше не сходящая с армянской сцены). «Язычников» отличал обострённый интерес

к древней, дохристианской истории, когда Армения была сильным государством, иной раз игравшим первую скрипку на международной арене и на равных противостоявшим таким державам, как Рим и Парфия. «Языческое движение» ни в коем случае не носило религиозного характера и выразило разочарование не столько в христианстве, сколько в современном состоянии народа.

К стихотворению «О моя родина...»

Написано по следам погромов и резни в Аданском вилайете Османской империи. Вилайет располагался на территории Киликии, где в течение трёх столетий (1080–1375) существовало армянское Киликийское царство. В 1909 году армяне составляли половину населения вилайета (не менее 200 тысяч человек). В результате организованных властями погромов около 30 тысяч из них погибло.

Ван – один из древнейших армянских городов, столица Ванского царства (Урарту), расположенный на берегу одноимённого озера; ныне принадлежит Турции.

«Наивный мифический рай» («Միակերպ զրախմբի տառապանք») – это не столько метафорический оборот, сколько ссыла на представления древних, запечатлённые, в частности, Томасом Манном в «Иосифе и его братьях»: рай находился «в той горной области Армении, севернее Месопотамской равнины, где соседствуют истоки упомянутых четырёх рек (Евфрата, Тигра, Аракса, Галиса. – Г. К.). Это мнение представляется вполне разумным. <...> Признав это и отдав пальму первенства стране Армении, мы всего-навсего сделаем шаг к правде...» (Перевод С. Апта).

К стихотворению «Последняя колыбельная»

«Римской волчицею... нового Ромула выкормлю я». По преданию близнецов Ромула и Рема, будущих основателей Рима, выкормила своим молоком волчица.

К стихотворению «Горящий корабль»

«С силембрийских утёсов...» Силембрия – римское названия константинопольского предместья Силиври, где родился Р. Севак.

«...о Нероне, Рим предавшем огню...» В 64 году в Риме произошёл чудовищных масштабов пожар, из тринадцати районов города десять выгорели дотла. Виновником пожара традиционно считают императора Нерона (54–68). Светоний в «Жизни двенадцати цезарей» прямо говорит об этом, Тацит в «Анналах» более осторожен: «...ужасное бедствие, случайное или подстроенное умыслом принцепса – не установлено (и то и другое мнение имеет опору в источниках)». Оба историка пишут, что во время пожара Нерон пел «о гибели Трои, сравнивая постигшее Рим несчастье с бедствиями давних времён» («Анналы», перевод А. Бобовича).

К стихотворению «Проститутка»

Григор Зограб (1861–1915) – прозаик, публицист, общественный деятель; убит во время геноцида, несмотря на свою парламентскую неприкосновенность (он был членом Османского парламента).

К стихотворению «Старинный мотив»

Аршакуи Теодик (1875–1922) – публицистка, автор книги «Месяц в Киликии», посвящённой аданским погромам 1909 года; жена Теодика, издателя альманаха «Аменун тарецуйц» («Всеобщий ежегодник»), в котором печатался Р. Севак.

К стихотворению «Их история»

«...подобием башни в минувшем глубоком, которая к Богу тянулась...» Намёк на Вавилонскую башню из библейской Книги Бытия.

К стихотворению «Восток»

Скютар (Скютари) – район Константинополя. Ср. в стихотворении Бунина «Стамбул»: «И вот уже в Скутари на погосте // Чернеет лес...»

К стихотворению «Патриарх»

Царь царей – почётный титул венценосца сильнейшей державы Передней Азии; царём царей был, к примеру, *Тигран II Великий*, правивший Арменией в 95 – 55 гг. до н. э.

Хайк – мифический прародитель и эпоним армян; *Ара Прекрасный* – мифический армянский царь, один из символов патриотизма; *Нерсес I Великий* – католикос Армении в 357–373 гг., *Артавазд II* – царь Армении в 55–34 гг. до н. э., сын Тиграна II, вероломно захваченный в плен Антонием и казнённый им и Клеопатрой в Александрии; *Вардан Мамиконян* – главнокомандующий армянской армией, руководитель восстания против персидского владычества в середине V века (восстание названо по его имени движением варданидов), национальный герой Армении, причислен к лику святых; *Аршак II* – царь Армении в 350–368 гг., вероломно захваченный персами в плен; с его именем связано популярное предание патриотического характера.

К стихотворению «Трубадуры»

Трубадуры – поэтическая школа, возникшая в XI веке на юге Франции, в Провансе; трубадуры пели сочинённые ими стихи, преимущественно любовного либо рыцарского содержания, и разработали множество новых стиховых форм.

По – город в Провансе.

«Смерть одна» («*Uwħr ūh t*») – слова из «Песни итальянской девушки» Микаэла Налбандяна (1829–1866). Положенное на музыку, это стихотворение легло в основу гимна Республики

Армения (1918–1920 и с 1991-го доныне).

Гохтан, или *Гохтн*, – область в исторической Армении, славившаяся своими певцами и сказителями.

К стихотворению «Армянка»

«Нежные жёны армянской страны...» (*«Կեանք փոփոխութի
նայն անփոփոխ...»*) – цитата из книги писателя V века Елишэ «О Вардане и войне армянской», повествующей о восстании против персидского владычества; знаменитый пассаж из этой книги гласит: «Жёны нежные страны армянской, возвращённые в ласках и неге, на своих подушках и ложах, ныне всегда босые и пешком шли в дома молитвы, неустанно вымаливая, как бы им вытерпеть великие лишения. Те, что с детства своего были вскормлены мозгом телят и яствами из дичи, ныне, существуя травоядением, как дикие животные, принимали подобную пищу с великой радостью и вовсе не вспоминали привычную изнеженность. В чёрное окрасилась кожа их тел, так как днём они были палимы солнцем, а все ночи напролёт лежали на земле» (перевод И. Орбели).

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Г. Кубатьян. Незавершённая постель.</i>	3
<i>Ш. Хачатрян. Живая ветвь</i>	12
Моя душа	15
Шакьямуни	16
Опьянение любви	18
Моление к золоту	20
Леман	22
Ты поёшь, Дасиана	24
Слезоточивое	26
Крик	27
Закат	28
Эдельвейсы	30
Девичья душа	31
Вчерашнею ночью	33
Печальный Дух	35
Багровая тоска	37
Сожаление	39
Осанна	40
Любовный шёпот	42
Ради свободы	43
Улыбка	45
Как ты благословен, ручей	46
Скорпион	48
Предоущенье смерти	49
Непонятое	50
Ночью («Кто там на лестнице?.. Кажется, снова...»)	51

Как в старину	52
Посвящение	53
Отец	55
О моя родина... ..	56
К и л и к и й с к и е п е с н и	
1. Сеятель возмездия.....	60
2. Армянский сирота	61
3. Последняя колыбельная	62
Горящий корабль	63
Проститутка	65
Старинный мотив	66
Звезда	68
Если б ты знала	70
Их история	72
Три всадника	74
Восток	75
Песня о Любви и Смерти	77
Люби!	79
Нет	80
Патриарх	82
Побеждённый победитель	85
Грешница	86
Трубадуры	87
Сон	92
Одинокий	93
Пастушок	94
Пастель	96
Армянка	98
Всадник	100
Рождённый армянином	101
Невозможная любовь	104
Две сестры	105
В лунном свете	107
Жемчуга	108
І. Приди!	110

II. Вечная сказка	112
III. Тусклая песня	113
Отчего?	114
Вести	115
Старый лебедь	116
Идти	119
Свирель	121
Любовь	123
Настоящая любовь	125
Мечты	127
Кто-то плакал	129
Счастье	130
Армения	131
Ночь пришла	132
Ночью («Всё чище и безбрежней небосвод...»)	133
Хмельная ночь	134
Испытание	135
Наше сердце	136
Радостная смерть	138
Твое сердечко	139
Завтра	140
Набаты	141
<i>Примечания</i>	143

Севак, Рубен

С 280 БАГРОВАЯ ТОСКА: Избранная лирика.

Перевод Г. Кубатьяна.-

Ер.: Ван Арьян, 2004.-152 стр.

Лирика - наиболее яркая часть наследия замечательного западноармянского поэта Рубена Севака, погибшего в 1915 году. В книге собраны лучшие ее образцы. Подавляющее большинство стихотворений переведено на русский язык впервые.

С $\frac{4702080102}{854(01)2004}$ 2004

ББК 84 Ар 1-5

